

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

[1]

Воспоминания слышанного о старине

Священник или дьякон Иван Кириллыч с женою Маврою Перфильевною, у которой на руках была маленькая, чуть ли не грудная, дочка Полинька, переселялся из прежнего «прихода» в новый. Как была фамилия Ивана Кириллыча, не знаю; откуда и куда он переселялся, тоже не знаю; но должно быть, что переселение было в какое-нибудь село Саратовской губернии, потому что после Мавра Перфильевна представляется уж очень старинною, если не коренною гражданкою Саратовской губернии, — и переселялся из какого-нибудь села тоже Саратовской губернии или разве южных уездов Пензенской, — потому что не помнится мне ничего похожего на упоминание о дальности родины Ивана Кириллыча или Мавры Перфильевны. Переселение было летом. Ехали на телеге; Иван Кириллыч сам заменял себе кучера. Сам же приделал и кибитку к телеге для защиты жены и малютки от солнца. Происходило это около 1775 или 1780 года, вот почему: Полиньке (Пелагее Ивановне Голубевой) было около 1840 года лет 65, побольше или скорее поменьше, и она не помнила сама этого переезда.

Итак, в начале последней четверти прошлого века дьякон или священник неизвестной фамилии переселялся неизвестно откуда, неизвестно куда, только неподалеку от Саратова, — вот мое первое генеалогическое сведение о том корне моего родословного древа, по которому родословная длиннее, — Пелагея Ивановна, Полинька этого переселения, была матушка моей матушки. Этот древнейший факт восходит в древность лет на 45 дальше того года, в который родился я, лет на 15 дальше того года, в который родился мой батюшка.

Генеалогические мои сведения со стороны моего батюшки начинаются тем годом, когда он родился — 1793, — я запомнил это по его послужному списку, который перечитывал сотни раз, пере-

листавая «Клировые ведомости» города Саратова, постоянно лежавшие на его рабочем столе. Но, перечитывая этот список сотни раз, я не потрудился запомнить, как звали по батюшке отца моего батюшки и кто он был, дьякон или дьячок, — кажется дьякон, но не ручаюсь. Итак, вот мое родословное древо:

- | | |
|--|---|
| 3 — прадед — священник неизвестной фамилии Иван Кириллыч. | 3 — прадед неизвестно кто. |
| 2 — его дочь Пелагея Ивановна, уже с известной мне фамилией, Голубева. | 2 — дед неизвестный по отчеству, дьякон или дьячок, Иван. |
| 1 — моя матушка ¹ . | 1 — мой батюшка. |

Мой батюшка скончался в октябре 1861, — я прожил в семействе до 18 лет, потом два с лишком года, бывши учителем в Саратовской гимназии; потом два раза приезжал на месяц, на полтора к батюшке и в эти посещения большую часть вечеров проводил с ним. Кажется, было время пополнить генеалогию с его стороны, хотя спросив, как звали дедушку, — не пришло в голову спросить, — и ему не пришло в голову сказать.

И теперь можно бы навести справку по послужному его списку, — но так и быть. Так буду писать и дальше — что случилось слышать и запомнить хорошо, но чего не знаю, хоть и нужно оно бы для связи или ясности рассказываемого, о том не навожу справок, — так и легче писать, да и лучше для моей цели, — а цель этой первой части моей автобиографии — дать читателю понятие о том, как и что влагала жизнь в голову и в сердце мне в молодости, — а это понятие я хочу дать затем, чтобы можно было по мне приблизительно заключать о том, под какими впечатлениями и с какими понятиями выросло то поколение среднего сословия, которое родилось на белый свет в коренных областях нашей матушки России в двадцатых, в тридцатых годах XIX века.

О переселении, с которого начинается древнейшая история древнейшего корня моей родословной, я знаю из рассказа, который несколько раз повторяла мне бабушка Пелагея Ивановна:

«Вот, Николинька, как нерассудительны бывают люди, я тебе расскажу какой случай. Едут мой батюшка с матушкой в новый приход, и все сначала едут одни, — встречные попадают, и то редко, попутных нет никого. Только, вот в один день и слышат они за собою тоже телегу. Поровнялась она с ними. На телеге сидят двое молодцов, будто мещане, в синих армяках, в хороших. А батюшка идет подле своей телеги, лошадь жалеет, потому что ведь всем хозяйством переселяются, клади много: и посуда, и сундучок с одежею, — вот, эти молодцы поровнялись с ним, — здравствуйте и разговорились. И едут рядом версты две, три. Потом говорят: ну, Иван Кириллыч, до свиданья, — он уж им и имя сказал, — нашей-то лошади что таким шагом идти, она и рысдой по-

бежит, — с ними-то клади нет, налегке едут, — а после догоните, опять поговорим. И уехали вперед. Только слышит матушка потом: пу! пу! — из ружей стреляют. Проехали еще с полверсты, — стоят знакомые, с телегой на дороге: «Мы, говорят, все поджидали, Иван Кириллыч, вместе-то веселее, с разговором». Опять едут вместе, они сидят на своей телеге, батюшка все больше идет, так оно и вовсе близко разговаривать-то — и совсем с ними подружился. Опять уехали вперед, говорят: до приятного свиданья, Иван Кириллыч, мы опять подождем вас, — опять матушка слышит: пу! пу! — стреляют из ружей. Матушка говорит: Иван Кириллыч, это твои знакомые пукают, — смотри ты, на беду себе ты знакомых завел. — А батюшка: что ты, Мавруша, чего бояться, они люди хорошие. — Ну, смотри, Иван Кириллыч, хорошие. А я тебе говорю: не надо с ними вместе ехать, дорога пустая. — Ну вот, говорит (батюшка-то). Я их спрашивал, что это они больно расстрелялись. «От скуки, — говорят, — забавляемся». — Хороша забава! Опять догнал их, они ждут, опять едут вместе. Дело к вечеру подходит. В матушке души нет. На счастье, уж видно село, где надобно ночевать-то. — Приехали в село, знакомые едут в ворота на постоялый двор, и батюшка за ними. — Иван Кириллыч, пойдй ко мне, говорит матушка (чтоб не слышно им было, что она ему скажет), — ступай на другой двор, с ними вместе не останавливайся. — Не слушает, туда же поехал. И такая у них дружба вечером, разговор такой. Уговариваются завтра выезжать вместе. Опять матушка отговаривает батюшку, опять не послушался, выехали вместе. И опять то же, что вчера. То рядом едут, говорят, то знакомые вперед уедут, и как отъедут вперед, опять пу! пу! — из ружья палят. И опять ждут нашу телегу. Так весь день матушка без души была, а батюшка не слушается ее. Только, опять дело к вечеру, опять в село въезжают, опять батюшка на одном дворе с ними становится, уговариваются поутру вместе выезжать. Ну, тут матушка видит, не совладевает добром с батюшкой, и говорит ему: как ты хочешь, Иван Кириллыч, а я с ними не еду. Убьют они нас. И себя жаль, и младенца своего не хочу губить. Коли тебе с ними мило, ступай, а я здесь остаюсь, не сойду с двора, коли ты с ними едешь. — Этим только и урезонила батюшку, потому что он ее знал, что хоть она тогда еще молода была, но напрасно слов не говорила, а что скажет, то сделает. Ну, поутру говорит им: моя Мавруша с ребенком-то устала, отдохнуть надо, не попутчик я вам, господа, потому что до завтраго здесь остаемся. Очень жаль, говорят, Иван Кириллыч, что расстаемся, потому что вместе веселей было и нам и вам, а ждать не можем. — Ну, видят, что догадались батюшка с матушкою, кто они и какие мысли у них на уме, — так и уехали. А батюшка с матушкой пообедавши выехали, а утро простояли, чтобы уж не встречаться по дороге с знакомыми-то. Разбойники были. Вот как безрассудны мужчины-то, Николинка: кабы матушка этого не сделала, как есть и ее, и батюшку, и меня с ними укокошили бы».

Замечательно то, что бабушка была женщина умная и хорошо знала, что такое значит охотиться. Как же объяснить, что она совершенно не догадывалась, что прабабушкины разбойники были действительно честные мещане, стрелявшие от скуки по воронам, — а быть может находившие и бекасов или встречавшие зайцев? Да и прабабушка, которую я хорошо помню, тоже была умная женщина. Ее страх я объясняю тем, что вероятно в то время в тех местах в селах еще мало слыхивали об охоте за утками, куликами и подобною мелюзгою, а, вероятно, мужики и их сожители знали только охоту за волками, да господскую видывали псовую охоту. Да, вероятно, и вообще ружье было не совсем обыкновенною вещью. Но как бы ни объяснять ошибку прабабушки, бабушка могла не замечать ее ошибки единственно только по слишком сильной привычке принимать взгляд старших родственников за истину, над которою уж нечего думать, которую остается только повторять. Я не вижу другого объяснения. А подтверждением этого мнения об отношении мыслей бабушки к тому, что слышала она от старших родственников, служит мой собственный пример: бабушка повторяла мне рассказ о безрассудстве дедушки, когда мне было уж лет 12, а я был мальчик и учившийся, и читавший, — кажется, мог бы понять, но нет: как что представлялось бабушке, так оставалось и в моем представлении, — и чуть ли уж не брил я бороду, когда, случайно вспомнив бабушкин рассказ, вздумал догадаться, что попутчики прадедушки не злоумышляли на жизнь его и прабабушки с бабушкой.

Но если во времена молодости прабабушки не догадывались в селах, что простые люди могут охотиться с ружьем за утками, бекасами, тетеревами, то охота с ружьем на волка была не только тогда, а и много после, слишком сильною надобностью. Уж я был не маленький мальчик, когда каждую зиму все еще случалось, что волки заедали людей, шедших через реку из Саратова в Покровскую слободу — огромное село на другом берегу, несколько выше города. Расстояние между слободою и городом, вероятно, версты 4, много 5; каждый день летом плывут, зимой идут туда и оттуда сотни людей, значит, эта недалняя дорога слишком не пустынная. А все-таки волки резали на ней. И тоже, я был уже взрослый мальчик, когда слушал, стоя на дворе своего дома, близ берега Волги, как они завывают на той стороне реки. Должно быть были очень большие стаи, когда вой переносился через реку версты в 2½ или 3 шириною. Колокольный звон из Покровской слободы едва слышался, — и то не во всякое время, — на нашем дворе. А волки были не многим ближе.

Бабушка рассказывала о каком-то своем старшем родственнике, вроде дяди, много приключений по охотам его за волками. Особенно помнится одно. Этот охотник придумал обзавестись средством вроде того, которым снабдил Мери своего героя для избияния бенгальских тигров в романе «Гева»². Очаровательная Гева, думаю-

щая, что муж ее растерзан тигром, объявляет герою (невообразимо благородному сэру Эдуарду), что отдаст свое сердце и руку только тому, кто отомстит тиграм за гибель ее мужа. Сэр Эдуард велит сделать и перевезти в любимую тиграми пустыню огромную клетку из толстых железных полос, привязывает подле клетки быков или свиней, а сам забирается в клетку с целым арсеналом ружей; сбегаются десятки тигров на крик добычи, он бьет их, они нападают на клетку, но [не] могут достать его лапами, просовываемыми сквозь решетчатых стен, а он все бьет и бьет их и приобретает до 30 или 40 шкур [для] получения руки Гевы (но муж Гевы оказывается не растерзан тиграми, и шкуры оказываются добытыми понапрасну). У бабушкина родственника, сельского дьякона или дьячка, не было таких богатств, как у сэра Эдуарда, и он сам соорудил себе на полянке среди леса маленькую бревенчатую избу, — вместо окон были только прорезки, служившие амбразурами; толстая маленькая дверь засовывалась изнутри толстою дубиною; кровля была из частых бревен, покрытых толстыми досками. Он привязывал у этой засады поросенка или гуся, а сам с двумя ружьями входил в деревянную крепостцу и ждал волков. Долго он побивал их по 3, по 4 штуки в один сеанс, без всякой опасности себе. Но вот волки сговорились, — потому что волки умеют сговариваться между собою, волк тоже умный зверь, как медведь или лиса, — и целая, быть может, сотня их собралась штурмовать избушку. Охотник побил их много, но остальные все только больше свирепели и сильнее ломились в избушку. Терзали и жрали убитых товарищей и все яростнее ломились на своего истребителя. Дверь выдерживала хорошо, — волки стали пробовать кровлю, — сорвали доски, потолок остался решетом из бревен, но решетины были слишком мелкие, чтобы пролезть всему волку, — всовывались только головы до плеч. Заряды у охотника вышли, да и слишком близко к нему были морды волков, меньше, чем на длину ружья, — стоячего, его хватили бы волки лапами за голову, — потолок избушки был, разумеется, немного выше человеческого роста, — охотник, сидя, махал по мордам и лапам топором, но стал выбиваться из сил, — осада продолжалась чуть ли не больше суток, а волки стали пробовать, не выворотят ли какого бревна из потолочной решетки. Избушка скрипела от их напрыгивания. — Но мужики в селе стали опасаться, не случилось [ли] именно такой истории, какая действительно происходит, не осаждают ли охотника большая стая, потому что иначе давно пора бы ему возвратиться; мужики пошли толпою на выручку и выручили, когда охотник уж не чаял спасения. Часы, может быть, целые сутки, проведенные в полутора аршинах от волчьих оскаленных на него зубов и сверкающих глаз, — «глаза были страшны, говорил он, по словам бабушки, — больно страшны, страшной воя, а и вой был страшный», это долгое смертельное томление так перевернуло всю душу в нем, что он зарекся охотиться и с той поры не брал ружья в руки.

Прабабушка сочла за разбойников честных мещан, паливших из ружей по птицам; разумеется, сочла только потому, что слишком не в диковинку были тогда настоящие разбойники. Они не были диковинкою в наших местах и на моей ранней памяти, но лишь как отдельные удалцы, поодиночке, вдвоем, много втроем-вчетвером скитающиеся по лесам, или как хитрецы, под видом простых воров имеющие приют в обыкновенных мошеннических берлогах. Солидных больших шаек формальных разбойников не было у нас уже и в 30-х годах, которые я помню. Но во времена прабабушки, в конце прошлого века, такие шайки были, с прочными, укрепленными жилищами — вроде городков или деревянных фортов, в лесах нагорной (западной) стороны Волги, — впрочем, это одна сторона и имела тогда население; левая, степная сторона тогдашней Саратовской губернии, нынешняя южная часть Самарской губернии, стала населяться нашими обыкновенными русскими почти уже только на моей памяти; прежде там были только немецкие колонии да полоса малорусских поселений, основанных правительством (при Петре?) для возки соли с Елтона в Камышин, из Камышина в Саратов, да раскольников монастыри на Иргизе, еще и во времена Александра Павловича высывавшиеся в степи очень далеким аванпостом, дорога к которому была через степь, и селились подле этих своих знаменитых монастырей раскольники, да селились тоже по Иргизу молокане пользоваться отдаленностью от регулярного административного действия.

Это были только оазисы среди степи. Да и правая сторона Волги, которая одна имела сплошное население, была даже и в начале XIX века населена слишком не густо³. Люди, родившиеся около 1790 года, еще помнили, что мужик развезжал по полю куда глаза глядят, выбирая место какое распахать; мой крестный отец, о котором я буду говорить довольно много, представлял себе мужиков своей молодости (1795—1800 г.) не пашущими много десятин в одном куске, — нет, говорил он, мужик засеивал десятину, полдесятины на солнечной покатоности одного холма, тоже десятину, полдесятины на другом особенно хорошем месте за версту, за полторы, и таких кусков пашни было у него много. Свой рассказ об этом он делал отчасти тоном идилии, показывая сам, что мы должны понимать его очерк тогдашнего быта как идеализацию; но идеализация эта не была чрезмерно выше того, как жили тогда на самом деле.

По степям и лесам были изредка разбросаны большие села, да на многие версты, иногда на десятки верст от такого села и друг от друга, были разбросаны хутора (не в малорусском смысле, а в смысле группы 3-х, пожалуй и 10 изб, — то-есть очень маленькие деревни), выселки из этих больших сел. К югу, нагорная часть губернии, суживаясь, шла, быть может, и тогда открытым полем, как теперь, а быть может, и там еще было много лесного пространства, а в большей, северной половине нагорной стороны губернии лесное пространство преобладало. И в этих лесах шайки имели

прочные, известные окольным жителям оседлости. Рассказов об этом было довольно много; все теперь уже спутались в моей памяти, кроме одного, тоже бабушкина, как и о мнимых разбойниках переселения.

«На новом месте (т.-е. на новой должности, на которую переселились из прежнего прихода) батюшка с матушкой жили, Николинька, хорошо. Только кругом были разбойники, и главный атаман у них был Мезин, старик такой почтенный, видный из себя. Этот Мезин уважал батюшку. Вот, раз работник говорит батюшке поутру, что лошадей из хлева увели ночью. У него была пара хороших лошадей. Батюшка так рассердился, говорит: «Еду к Мезину жаловаться». Матушка не пускает: «Лучше пропадай они, лошади, а у Мезина тебя убьют», — говорит. — «Пусть убьют, говорит, коли убьют, а я не могу так перенести этого дела». Ему и лошадей-то жаль, Николинька, и обидно. У Мезина дом был большой, и двор тоже большой, обнесен высоким забором; забор был из брусьев, стоя, с заостренными концами, а двор крытый. Повели батюшку к Мезину в дом. Мезин сидит в красной шелковой рубашке — это летним временем было. «Зачем, говорит, пожаловал ко мне, батюшка? Тебе ко мне ездить не след», — сердитый тон подает, чтобы запугать. Батюшка не пугается: «Твои молодцы, говорит, у меня пару лошадей увели. Вороти лошадей», назвал Мезина по имени-по отчеству. «Нет, говорит, мои твоих лошадей не уведут; это, видно, не мои; и я об твоих лошадях ничего не знаю». А сам хмурится. Батюшка все свое: «Вороти лошадей; не уйду без них от тебя. Либо убей меня, либо лошадей мне отыщи». Долго спорили. Мезину не хочется. А батюшка не отстает. Ругался, ругался Мезин, — не то что батюшку ругает, а с досады ругается, в своих словах. «Нечего делать, говорит, не отвяжешься от [тебя], поедem твоих лошадей искать, — хоть мне больно не хочется». Закричал, чтоб ему подали кафтан, опоясал саблю. Большие дроги ему подали, сел на них с батюшкой, четверо своих разбойников с собою взял; поехали. Ехали долго. Пошли поляны по лесу. Приехали на одну поляну, — очень большая поляна, в лесу, — Мезин свистнул, — кругом из лесу люди повискакали, голые * все, в руках сабли. Стоят кругом, подле деревьев, не на середине поляны, а по краям, Мезин их стал спрашивать. Они на него кричать стали. Он видит, дело плохо, — надо за вино приниматься, угощать, — а он знал, что нужно, взял с собою вина. Налил им ведро, либо два. Они подошли. Ковер постлали на поляне, сели все, стали пить. Эти голые сами пьют,

* Что это значит, я не знаю. Разделись ли они для того, чтобы быть страшнее, как люди совершенно отчаянные, пренебрегшие уже всеми принятыми в общежитии правилами? Тогда это производило на меня такое впечатление. Или бабушка не совсем поняла в детстве рассказ отца, говорившего о голых саблях, а не о том, что сами разбойники были без рубах? Но нет, она тоном, голосом показывала, что именно это обстоятельство было важно, производило на ее батюшку и на самого Мезина такое же ужасное впечатление, как на меня.

и Мезина поят, и батюшку — те отказываются, однако, не смеют, тоже пьют. Выпили разбойники, тогда стали мягче, стали посылать Мезина с батюшкою дальше, — у нас, говорят, твоих лошадей нет, батюшка, а спросите у тех, дальше. Поехали Мезин с батюшкой дальше, опять выехали на другую поляну, и эта поляна как будто ложиною* выходит и промежду гор и вроде ба́рака (буерака, оврага). Тут опять Мезин свистнул, — и тут опять повыскакали голые с саблями. Опять стал Мезин спрашивать батюшкиных лошадей, и эти тоже стали ругаться. Тут, батюшка говорил, сам Мезин перепугался. Они начали саблями махать, убивать его хотели. Он перед ними на колени стал, — Мезин, — плачет, упрасивает, чтоб они его не убивали. Вина им налил. Три раза так принимались: они все его и батюшку убивать хотят — он на колени станет, и потом пьют вино. Когда в третий раз напились, совсем сжалились: «Ну, говорят, хорошо, уважим вам», — что же ты думаешь, Николинька? — ведь привели, отдали лошадей батюшке. А матушка дома сидела, все плакала: не думала, чтоб он живой воротился. И точно, не только ему, самому Мезину смерть была. Но только не знаю, как тебе сказать, в самом ли деле они хотели убить Мезина, или это было от него же, притворство, чтобы батюшку больше запугать, — должно быть, что так. А может быть, и в самом деле те разбойники уж не его шайки были и озлобились на него».

Отношения Мезина к прадедущке показывают, что прадедущка был тогда священником; был ли Мезин его духовным сыном, или так питал уважение к его священному сану и, без сомнения, честной жизни, этого не видно из рассказа; неизвестно также, где и как был крытый, огороженный заостренными брусьями дом Мезина, — в лесу, как дом человека, формально живущего вне покровительства законов, или в селе, где, может быть, и угощались у него местные чиновники, — я хочу сказать, что остается неизвестно, на каком основании занимал свое атаманское положение этот Мезин: только ли избегал он наказания ловкостью, храбростью шайки и, быть может, содействием окрестных жителей, уведомлявших его о всякой опасности, — или он был выше, сильнее мелких местных властей? — Это второе предположение я делаю потому, что аккуратно каждое воскресенье во все мое детство видел своими глазами спокойно молящегося в нашей церкви человека, под командою которого производились грабежи его подданными. Если в 30-тых годах действия таких шаек с явно живущими в обществе и также явно атаманствующими главами должны были ограничиваться воровскими формами грабежа, то в конце прошлого века натурально было им действовать шире, с формами настоящего разбоя. Этот знакомый мне в лицо атаман, наш прихожанин, точно так же уважал моего батюшку, как Мезин прадедущку.

* Лощина — ущелье с довольно отлогими стенами. У нас в Саратове большая часть садов близ города разведена в лощинах.

Я все рассуждаю о том, священником ли был дедушка в своем новом приходе или дьяконом. Это обстоятельство заинтересовало меня уже долго спустя после того, как прекратились мои беседы с бабушкой, и заинтересовало уже не как ребенка, слушающего анекдоты, а как взрослого мальчика, прочитавшего где-то, что количеством сахара, употребляемого в стране, с точностью определяется мера ее принадлежности к новой цивилизации. Священничество прадедушки и сахар были, по мнению моего детства, связаны очень натурально. Бабушка рассказывала так:

«В старину, Николинька, жили гораздо проще, чем теперь. Батюшка с матушкой жили уже хорошо, когда я была маленькая, а чаю все еще не пили, — вот как не пили. Когда батюшка поехал ставиться во священники в Астрахань*, стал он советоваться, надобно ли поднести что-нибудь на поклон архиерею; с кем он советовался, не знали сами, надобно ли, а то знали, что если надобно, так приличнее всего поднести голову сахару. Вот батюшка и купил в Саратове голову сахару, везти с собою в Астрахань, только с каким же условием? — Чтобы, если архиерей не примет, скажет: «Незачем, я не беру», то купец опять взял бы назад сахар у батюшки. «Потому что, говорит ему батюшка, мне самому некуда этого девать». Купец был знакомый, согласился».

Неизвестно, принял ли архиерей поклон от прадедушки, и потому неизвестно, проехала ли эта голова в попечении у [пра]дедушки только 1100 верст вниз по Волге, или проехала тоже и вверх те же 1100 верст.

Итак, в молодости прадедушка и прабабушка вовсе не пили чаю, и гости тоже, — когда бы они сами пили хоть по праздникам или подавали гостям, то купленная голова сахару не была [бы] вещью вовсе ненужною для своего хозяйства, и не было бы заключено такого условия с купцом. Но когда я стал помнить прабабушку, старушка пила чай точно так же, как ее потомство, два раза каждый день и очень любила его.

Вообще, сколько я видел на старых и молодых людях, среди которых рос, новые обычаи, имеющие существенный характер, принимаются и легко и быстро, — сопротивления им нет, если кто долго не принимает их, то лишь по недостатку средств, по каким-нибудь непреодолимым внешним причинам, а не из упрямства к старине; если он и прикрывает невозможность мнимым нежеланием, то это делается только для утешения себя и из амбиции перед другими. Так на моих глазах в нашем слое общества гусли заменились фортепьяно, фанты танцами, старые одежды новыми, весь образ жизни в нашем семействе был вовсе не тот, какой был привычен еще менее богатым родным, приезжавшим к нам из деревень, — и никто из этих родных, остававшихся и по большей бедности, и по

* Прежде архиерей в юго-восточном Поволжье был только один, астраханский, а Саратов принадлежал к Астраханской епархии. Потом он принадлежал к Пензенской. Епархия в Саратове открыта уже после 1830 года, чуть не на моей, но еще не на моей памяти.

своей деревенской захолустности при прежних порядках, не возмущался новым, которое видел у нас. Совсем иная вещь перемены, которые состоят главным образом только в словах. Здравый ум и практика не показывают, чтобы от них жизнь делалась удобнее, легче или веселее, потому суждение о них остается на произвол воображения, — оно разыгрывается в пользу воспоминаний, т.-е. старины, и является сопротивлением, ожесточением на новое, которое и действительно неправо перед стариною, когда в сущности сходно с нею: если перемены в самом деле нет, то из-за чего же оно нарушает привычку? Оно в таком случае только лишние хлопоты, только тревожный вздор. — Так по впечатлениям детства и юности я сужу о людях старого века тех слоев общества, в которых вырос. Пожилые и даже старые люди этих слоев, — невысоких слоев среднего класса, — вовсе не враги новизны, лишь бы перемена, ею вводимая, была хотя настолько путною, насколько путна была замена прежнего способа проводить вечера в гостях или с гостями, — замена его новым способом, состоявшим в картах и танцах. Кто из старух и стариков не стал играть в карты, кто мешал детям своим учить внуков и внучек танцам? — Но и я, при всей моей молодости и при всем прогрессизме, не восхищался тем, что в приходо-расходных книгах церковей вместо прежнего: «доход 115 рублей, расход — 114 рублей, в остатке 1 рубль» — надобно стало писать: «приход 32 р. 85⁵/₇ коп., расход 32 р. 57¹/₇ коп., остаток 28⁴/₇ коп.»⁴. В этом случае я, 12-тилетний человек, был человеком старого поколения. Дело в том, что прогресс, хотя бы самый ничтожный, вроде карт и танцев вместо совершенного бараньего уныния или дикой гульбы, даже такой прогресс и путаница — две вещи разные.

Судя по этим трем рассказам бабушки, жизнь прадедушки с прабабушкою шла, постепенно улучшаясь: из одного прихода он перешел в другой, — и в рассказе нет следов того, чтоб он или прабабушка были недовольны переселением, — значит, перемещались по собственному желанию, значит из худшего прихода в лучший; из дьякона он сделался священником, — это еще важнейшее улучшение средств к жизни, — а потом из сельского священника он сделался городским, — это не всегда выигрыш в материальном отношении, но вообще это — почетнее, значит, тоже улучшение. Счастье в жизни было. Но еще до перехода в Саратов подвертывалось было не такое, а очень большое счастье, такое большое, что мы с бабушкою не могли и определить границ ему. Вот как оно подвернулось было и ушло:

«Матушка была, Николинька»...

Пишу я это слово «Николинька» и грустно становится и теперь, как прежде, каждый раз, когда писал его: умер и последний, самый милый из тех, которые так звали меня, но и хорошо сделал, что умер: во-время, а то слишком много было бы ему тревоги и горя. Но к рассказу⁵. —

«Матушка была, Николинька, хорошая мать, заботливая, умывала нас, приглаживала головы, смотрела, чтобы рубашоночки на нас были чистенькие, опрятно держала нас, хорошо. А нас было тогда то ли три, то ли только две, только еще две ли, три ли, все маленькие; я старшая была, а этого не помню, что тебе рассказываю, только от матушки слышала после. Только вот, видят батюшка с матушкой, едет по селу карета на полозьях * (зима была) и останавливается против их ворот. Входит человек и говорит: «Батюшка, можно ли попросить у вас остановиться пообедать, барин прислал просить». — Можно, ему говорят **. Карета въехала на двор, вошел барин. Молодой, красивый, важный, но приветливый, ласковый. Очень разговорился, и с матушкой тоже разговорился. Вот батюшка видит, что матушка его конфузится, а он ее об детях спрашивает, она ему нас показывает, — мать, нельзя: спросили о детях, она и рада говорить; батюшка видит это, а ему давно хочется посмотреть поближе на карету, потому что очень хороша, — он возьми да и уйди от гостя, — говорит, посмотрю, как вашим лошадям корм дают, так ли, как следует (потому что, Николинька, лошадям корм давать надобно умеючи, а то испортишь). А сам, взглянувши на лошадей, к карете; ходит кругом, рассматривает, что очень хорошо сделана, — ну, стекла в карете, только занавески у стекол спущены, — он снаружи смотрит, ходит. Только вся утыкана медными шпильками ***, он возьми одну шпильку за головку и потянул, а она стала вытаскиваться; только, только потянул он, из кареты голос, — женский, ласковый, такой приятный: «Батюшка, не шалите». — Ей-то стало, видно, заметно, как шпилька-то стала тянуться, — а он думал, в карете никого нет. Ну, он отошел, воротился в горницу. А гость все с матушкой и с нами занимается, ее об нас все спрашивает, и нас ласкает, и все осматривает нас. Только потом и стал говорить: «Батюшка и матушка, как теперь я вижу, я о вас правду слышал, что у вас в доме все в порядке, и что вы добрые люди и хорошие, и что вы, матушка, рачительная мать и хорошо о детях заботитесь. Вот какая будет моя к вам просьба: не согласитесь ли, батюшка и матушка, принять к себе на воспитание младенца? Про его содержание нечего говорить: будет вам присылаться достаточно. И если уход за ним от вас, матушка, будет хороший, как я теперь не сомневаюсь, то я буду об этом знать. И если вы этого младенца воспитаете, то вы навек будете счастливы, и дети ваши». — Позвольте с матушкой посовет-

* Возок.

** Даже и я еще помню остатки этого обычая, просить священника позволения остановиться у него: у него все-таки почище в комнатах, чем на постоялом дворе. А быть может, постоялого двора и нет на десятки верст, так бывало еще и лет 30 назад, а прежде, конечно, таких гаухих местностей было гораздо больше.

*** То есть гвоздиками с широкими шляпками, какие теперь употребляются при обивке дверей сукном и т. п.

товаться, — говорит батюшка. — Пошли в другую горницу. — «Не трудно ли тебе будет, Мавруша?» — батюшка спрашивает. — «Нет, — говорит: — для своих я бабу возьму для подмоги, а за тем сама буду ходить». — Посоветовались, — взять. Воротились в ту горницу, к нему, говорят: мы согласны. Он так обрадовался. Сказал, что по пяти золотых в месяц будет им присылаться на содержание младенца, и когда воспитают, больше будет награды, — много что-то сказал, матушка и не разобрала, сколько, — потому что, Николинька, ведь они об тысячах и понятия не имели, — и что детей их пристроит (нас), и батюшку в люди выведет, и все — много наобещал. И можно видеть, что не обманывал: не прежде обольщал, а уж когда и так согласились, тогда стал много-то обещать.

Вот как переговорил с ними, пошел в карету, несет оттуда младенца. Подушка обшита кружевами, рубашоночка обшита кружевами, холст самый тонкий. Человек принес много белья, такого же, очень хорошего. Барин простился с младенцем, опять попросил ухаживать, давал обещания, простился с младенцем, расплакался, долго прощался, сел в карету, — проводили, уехал со двора. Ну, Николинька, говорила матушка, уж как я ухаживала за этим младенцем, куда больше, чем за своими детьми; и так, говорит, привязалась к нему, просто души в нем не чаяла. Так прошло с год, благополучно, и деньги присылались, и подарки присылались кроме того, сверх обещанного. Только не угодно было богу такого счастья для батюшки с матушкою и для нас: занемог младенец и скончался. Уж как, говорила матушка, я убивалась по нем, да и нельзя было: и красавец-то он был, и милый такой, точно херувим, — так убивалась, что легче бы мне двоих своих похоронить, чем его. С ума сходила. Тем и кончилось, Николинька. Получили от барина письмо, — писал, что «не осуждаю вас в моем несчастье, батюшка Иван Кириллыч и матушка Мавра Перфильевна, — знаю, что не было вашей неграмотности, а так было богу угодно». Значит, не винил их. Но только тем и кончилось».

Теперь этот рассказ занимает меня своею поэтическою стороною: видно, что было тут какое-то похищение, бегство и нежная любовь, — и кто эта женщина, сидевшая в карете? И почему ее любовь должна была скрываться? И почему она должна была расстаться с своим сыном или дочерью, — ведь, наверное, она любила его или ее еще больше, чем отец? И как она «убивалась» и «сходила с ума», когда узнала о смерти малютки, — верно побольше, чем прабабушка. Но тогда нас с бабушкою занимало не то, а исключительно только то, что подвертывалось счастье прадедушке и прабабушке, да ушло от них. А теперь мне, кроме романтических симпатий к этим молодым людям, так поэтически мелькнувшим с своим блеском в истории моих предков, — кроме этого идиллического, отчасти смешного сочувствия к молодым людям, которые уж давно в могиле, если сошли в нее и очень старыми, приходит в голову смешное размышление: зачем же это я тогда жалел, что

счастье ушло от Ивана Кириллыча с Маврою Перфильевною? Ведь если б оно не ушло от них, то мне никак не пришлось бы существовать на свете. Бабушка не сочеталась бы тогда браком с семинаристом Голубевым, поступающим на священническое место, — ведь ясно, что по ее и прабабушкиным расчетам она вышла бы за генерала, — и что же тогда? — нет детей и внуков Пелагеи Ивановны и Егора Ивановича Голубевых, в том числе и меня нет. Значит, если бабушке было основание жалеть, то я, напротив, должен был радоваться, что счастье ушло от ее семейства.

Но вот еще что открывается теперь мне из этого рассказа. Мы с бабушкою были люди очень строгих нравственных понятий, беспощадно строги к уклонениям даже и мужчин (не говоря уж о женщинах) с пути добродетели. Мы распространяли свое отвращение и на плоды, рождающиеся от таких уклонений. Бабушка не называла эти незаконно происшедшие существа иначе, как словом, которое было бы более эффектно, нежели прилично в печати. И ведь мы очень понимали, что эти барин и барыня ушли с пути добродетели, и «младенец», драгоценный нам, порожден недобродетельно. Что ж это мы совершенно не хотели замечать этой возмутительной для нас стороны дела? Несправедлив к нам был бы тот, кто приписал бы это шопоту нашего корыстолюбия или честолюбия: «закрывай глаза», — нет, мы не закрывали глаз, наши глаза, совершенно открытые и очень внимательно смотревшие, не видели, не могли видеть того, что следовало бы, кажется, заметить. Наши нравственные принципы допускали наше зрение видеть тут только почтенное. Как так? Вот как: да разве могли мы судить таких важных людей, как этот барин и женщина, ехавшая с ним? «Такие люди ничего дурного не делают», — это был наш твердый принцип: чем ниже, тем хуже; чем выше, тем лучше, и на известной высоте все прекрасно, — мы были тверды в этом.

В воспоминаниях бабушки о старине ее семьи был еще рассказ, выходящий из порядка случаев обыденной жизни.

Чья-то семья, прадедушкина ли, или прабабушкина, была многочисленна, жила в коренном своем селе, и уж не все ее члены были духовные, а некоторые, может быть и большая часть, не бывши в училище и не получив мест, сделались мужиками. Один из этих родных был захвачен «корсаками» (киргиз-кайсаками), когда работал на пашне, далеко от села; через несколько времени корсаки захватили еще одного. Один из этих увезенных в плен через много лет приезжал навестить родных уже богатым и важным человеком: он попал в милость к тамошнему (неизвестно какому, хивинскому или какому другому) царю и был у него большим начальником, женился там, имел детей. Он привез родным подарки и звал их ехать с собою. Натурально, никто не согласился. Мусульманином ли он приезжал, или сохранил христианскую веру, это неизвестно, бабушке не думалось, что это интересно, не упомянула. Ее и меня интересовало собственно то, что был важным человеком у тамо-

шнего царя, под которым разумелся, быть может, и какой-нибудь мелкий улусный начальник, и что рассказывал о себе, что живет богато и делает счастливыми людьми тех родных, которые поедут с ним. Впрочем, мы не осуждали родных за то, что они не поехали быть счастливыми людьми, по-нашему, нельзя было им ехать к нехристям. Судьба другого пленника была иная. Ему не случилось попасть в милость ни к какому царю, он жил обыкновенным пленным рабом где-то в Хиве, Бухаре, Кокане, и ему, как и следовало ждать по нашим понятиям о «корсацких» обычаях, подрезали пятки, чтоб он не убежал; подрезывание пяток состояло, по нашим сведениям, в том, что делали на пятках глубокие прорезы и всовывали туда порядочные комки мелко изрезанного конского волоса или свиной щетины, потом заживляли разрезы. После этого, человеку надобно было ходить, не ступая на пятки, — если же ступать на пятки, то от волоса или щетины делается нестерпимо больно. Стало быть, пленник может ходить на недалекие расстояния, медленно, и годен к работе, но к бегству неспособен. Однако ж, и с подрезанными пятками наш родственник решился бежать и ушел ночью. Всю ночь шел, как стало светать, лег в траву; так шел по ночам и лежал по дням еще несколько суток, с первого же дня часто слыша, как скачут по степи и перекрикиваются отправившиеся в погоню за ним. Они употребляли, между прочим, такую хитрость, вероятно часто удававшуюся им с беглецами, не имевшими силы сохранить спокойствие в своей страшной опасности: кричали «видим! видим!» — чтобы беглец попробовал переменить место, перебраться из открытого ими приюта в другой; тогда бы они и увидели его над травой или распознали по колыханию травы, где он ползет. Наш родственник не поддался, выдержал страхи. Особенно велика была опасность, когда он уже дошел до какой-то реки и пролежал день в ее камышах. Ловившие его много раз бывали очень близко к нему, иной раз чуть не давили его лошадьми, но все-таки он уберется незамечен, добрался до русских, пришел домой цел и стал жить по-добру по-здорову. Эта картина его прятания и ловли в камышах довольно сильно действовала на мое воображение. Не скажу, чтобы я много, часто и сильно переносился к ней в своих мечтах. Но все-таки она, бывшая темой моих грез довольно редко, рисовалась в них чаще всего остального чрезвычайного, необыденного, что случилось мне слышать в детстве за правду, бывшую с людьми мне известными или известными кому-нибудь из известных мне. А вообще бабушкины рассказы о старине ее семьи, которых почти только и было всего, сколько я пересказал теперь, — эти рассказы были важнейшим, почти единственным материалом сколько-нибудь фантастического содержания, полученным мною от живых впечатлений в детстве. Из всего, что давала мне жизнь в первую, очень важную эпоху развития, эти рассказы были самым чудесным, самым далеким от обыкновенного скромного и рассудительного порядка жизни. А и в них есть ли что-нибудь противоречащее или законам здравого смысла, или

законам природы, или хотя сколько-нибудь неправдоподобного, требующего принятия по доверию к авторитету?

— На пустой дороге встречаются люди, в которых умная женщина открывает разбойников. — Охотник попадает в большую опасность от волков. — Какие-то богатые люди, которым почему-то неудобно воспитывать своего ребенка при себе, поручают его женщине, о которой узнали, что она добрая женщина, умеет и любит ухаживать за детьми, и обещают наградить ее за труды. — Степные наездники уводят двух мужиков из степи в плен, один успевает хорошо пристроиться у этих полудиких людей, благодаря тому, что он все-таки образованный человек сравнительно с ними, другой успевает бежать из плена, когда перестали опасаться, что он убежит, и начали оставлять его на свободе без надзора. — И при этом видишь и слышишь, что разбойники [существуют] еще и теперь, а прежде их было еще больше, что волки очень упрямы в драке, когда сильно разозлятся, что детей часто отдают на воспитание чужим людям, даже подкидывают, — что хивинцы или кто-то там за степью до сих пор хватают русских в плен. — Что же тут сколько-нибудь развивающего легковерие, возбуждающего верить неправдоподобному?

Если б эта черта первых впечатлений жизни, — отсутствие элементов, располагающих рассудок портиться привычкою к неправдоподобному, — если б она была случайною исключительностью моего детства, она, быть может, имела бы важность для объяснения моих личных тенденций, моего образа мыслей и моих общественных отношений, и только. Но, сколько я знаю, это преобладающий характер впечатлений, даваемых жизнью всему нашему племени, а в особенности юго-восточному отделу нашего племени, недавнему поселенцу своего нынешнего края, и в числе местностей, где сильнее всего преобладание этой черты, одно из первых мест — Саратов. Саратов совершенно не имеет живой мифологии. В нем не было никаких невероятных историй, которым бы верили его жители. Первый рассказ, имеющий живое мифологическое содержание, созданное саратовскою головою, я слышал, когда был уже учителем в гимназии, слышал от своего приятеля, в числе анекдотов, которыми характеризовал он уморительную оригинальность своего слуги, страстного отыскивателя кладов. Вот эта история. Доказывая существование кладов своему молодому барину, старавшемуся образумить его, слуга рассказал следующий случай.

Обоз приближался к Саратову с одной из тех сторон, где близко от [него] дорога проходит по горам с ущельями. Смеркалось. Выходит на дорогу человек и говорит мужикам: «Не хотите ли разбогатеть?» — «Как не хотеть!» — «Так идите за мною, я вам покажу столько денег, что возьмете, сколько захотите». Повел их в ущелье; из ущелья ход в пещеру; пещера вроде комнаты; среди этой комнаты котел с золотом. У котла стоит квартальный, в мундире, со шляпою и при шпаге, как следует. «Берите, сколько хотите», — говорят мужикам квартальный и проводник. А тем вре-

менем мужики оглядывались и видят, в углу стоит старик. Они спросили проводника, что ж этот старик тут стоит в углу, а не идет к котлу брать деньги. «Он уж взял, — говорит проводник, — это купец NN*, это его душа тут осталась у него в закладе». — «Как так? Значит, если взять деньги, душа остается тут?» — «Да». — «Ну, когда так, мы не хотим», — сказали мужики и ушли. А душа-то купца NN уж стала старая и поседела и длинной бородой обросла**.

Я не слыхивал в Саратове никакого местного мифологического рассказа, сколько-нибудь приближающегося к этому по обстоятельности и способности оставить сколько-нибудь занимательное впечатление. Но и этот сам обнаруживает крайнее невежество своего автора в мифологических занятиях. Единственное идущее к делу обстоятельство тут — то, что деньги лежат в котле, — черта, взятая из рассказов о кладах, которые, как бы ни были неопределенны, все-таки упоминают, что клад лежит в котле; стало быть, достаточно было самого поверхностного знакомства с преданиями о кладах, чтобы вставить эту черту; но все остальные подробности свидетельствуют о неопытности изобретателя. Он даже не знал, что душу, оставленную в закладе, следовало бы мужикам видеть на цепи или на какой-нибудь привязи. Черты поступают совершенно несообразно своему характеру в наших преданиях: они не предупреждают мужиков об условиях, — такой недобросовестности никогда не приписывалось им, они всегда объясняют все по чистой совести. Но тут они даже и не то что недобросовестны, — они просто сами не знают, как им следует держать себя; когда мужики спрашивают их, кто ж это такой стоит в углу, они тотчас объясняют условия своей помощи, — прежде они не высказали их просто по забывчивости, просто потому, что не слыхивали о порядке заключения подобных сделок. Хорошо и то, что чорт, стоящий у котла, одет квартальным, — что это колкосте на счет полиции? — подумается вам сначала. Нет, рассказ не имеет никакой язвительной замашки, это не выражение неприязни к полиции, автор просто думал, что так следует: он знал, что при выдаче денег из какого-[нибудь] ведомства находится чиновник, — ведь

* Не называю его фамилии, потому что если он еще жив — что очень может быть — и если бы прочел свое имя в такой истории, — чего уж никак не могло быть, потому что он не читал книг, не только новых, но и старых, — то имел бы право рассердиться. Я не знавал его лично, но фамилию слышал часто, и во всем, что я слышал, не было ничего, дававшего искателю кладов основание поставить в пещере именно этого, а не другого купца: я не слышал, чтобы он разбогател быстро или как-нибудь загадочно; да он и не особенно богат, — он из очень второстепенных купцов, так что его имя могло представиться бредившему фантазеру только уже вследствие крайней беспомощности найти какое-нибудь пригодное имя, — а его имя представилось потому, что в семье у него перед тем временем случилось несчастье, — слуга именно и указывал на это несчастье, как на божеское наказание за продажу души чорту.

** Купец NN был уже и сам старик, потому неудивительно, что его душа тоже состарилась. Но, значит, он брил бороду, если длинная борода указана как особенность печального положения его души в закладе.

он и выдает, без него кто же выдаст? — и ведь выдача денег — служебное дело, стало быть, чиновник должен быть в форме. В других присутственных [местах], кроме полицейских, автору не случалось быть, других чиновников, кроме полицейских, он не видел в мундирах, — и вот употребил в дело единственный знакомый ему мундир по воображаемой необходимости мундира. Видно, что автор, при своем усердии к фантастическому миру, знал исключительно житейский мир и не мог ни на минуту оторваться мыслью от его порядков. Словом, этот рассказ обнаруживает точно такую же степень знакомства с своим предметом, какую видим во французских повестях из русской жизни, начинающихся такими манерами: «Княжна Феклянька Анфимьевна, позвольте представить вам моего друга, графа Лукьяныча Диячкова, — почтительно сказал молодой и изящный князь Петруша Иваныч блистательной княжне Фекляньке Пономаревой».

У слуги, рассказ которого я передал, была, как видно, «охота смертная, да участь горькая»: он жил в местности, слишком далекой от мифологической жизни. Его рассказ, дошедший до меня уже как до учителя гимназии, был, как я сказал, единственным сколько-нибудь живым мифологическим фактом, какой случалось когда-нибудь получить из саратовской жизни. А все, что я видел и слышал в детстве, было совершенно лишено этой стороны. Значит ли это, что я хочу сказать, будто в понятиях и словах людей нашего [круга] было мало суеверий? Вовсе нет, суеверия были очень порядочный запас, и оно выливалось по временам разными историями. Помню, например, бабушка как-то сказала старухам, беседовавшим с нею, что один ее родственник, — человек пьющий, — шел из далекого конца города домой, и путь ему лежал через место, еще остававшееся чистым полем; дело было поздно, вечером, встречается нашему родственнику знакомый мещанин: «Отец дьякон, пойдем ко мне в гости». Пошли. Хозяин поднес гостю стакан вина, гость перекрестился и увидел, что сидит не на стуле у знакомого мещанина, а на берегу Волги, свесив ноги на обрыве над «яром» (омут, начинающийся прямо от берега) — «как бы он выпил этот стакан не перекрестившись, столкнул бы его чорт-то в омут-то». Но, перекрестившись, наш родственник благополучно возвратился домой, совершенно трезвый: «с перепугу-то хмель как рукой сняло»; но не исправился и имел вторую такую же встречу, около тех же мест, — но в этот второй [раз] знакомый пригласил его не в гости к себе, а «бродить рыбу», и пьяный опомнился, когда вода стала уж плескать ему в лицо: перекрестившись от страха, он увидел себя зашедшим, во всей одежде, в воду уже выше плеч и едва мог выбраться. Оба эти приключения и действительно могли быть. — Значит, были кое-какие личные мифологические истории, и, может, я слышал их до десятка от знакомых о их родных и знакомых. Были и кое-какие общие городские истории, — впрочем, уж очень скудные и плохи. Сколько могу припомнить, только и было две их, и обе совершенно одинаковые: на площади Нового Собора стоял в мое

детство заброшенным и разваливающимся довольно большой каменный дом; говорили, что в этом доме живут черти; слышен иногда по ночам крик, и даже летят камни из окон на запоздалого прохожего. Точно то же говорили и о другом таком же доме, который стоял среди большой площади, образовавшейся от того, что обвалился и был растаскан деревянный забор дома, занимавшего целый квартал (потом этот дом купила казна, он был поправлен, и в нем поместился приказ общественного призрения). Важнее этих рассказов были живые люди, производившие тоже фантастическое впечатление на наш город. Из них мне в лицо были известны двое: слабоумный мальчик, бродивший в длинной холстовой рубашке вместо всякого платья, босой и без шапки, и настоящий юродивый, Антонушка. Слабоумный мальчик заходил к нам два раза, оба раза не надолго, стоял, рассматривал вещи, какие попадались ему на глаза, был, бедняжка, и смирен, и приличен, не сказал ничего важного, да и говорил очень мало, только отвечал двумя-тремя словами на вопросы, которые делались ему в самых коротких, легких, известных словах, — вопросы были исключительно такие, с какими и следовало обращаться к бедному мальчику, зашедшему в дом: «Поесть не хочешь ли?» — «Нет». — «Да ты, чай, голоден?» — «Да». — «Так вот, возьми-ка пирожка, покушай». — «Ну, хорошо», — кажется, только в оба раза. Если бы видеть только эти его посещения, то и нельзя было бы предположить никакого другого взгляда на этого бедняжку, кроме хорошего человеческого взгляда на бедного слабоумного мальчика. Но около этого времени, как были эти его посещения, раза три, четыре я слышал, что он предрек пожар в каком-то доме, — с азартностью, какой вовсе не было в нем обыкновенно, он побежал взбираться по лестнице на кровлю, — дом был одноэтажный, низенький, так что он легко взлез на него, стоял на крыше и несколько раз прокричал петухом. — Через день или два дом загорелся. Из этого поняли, что мальчик предрекал и предостерегал: своим петушьим криком он хотел объяснить то, чего не умел, по слабоумию не мог выразить словами: «будет у вас на крыше красный петух», то-есть пожар. Это было тем летом начала 1840-х годов, когда выгорело что-то много больше городов и сел, чем обыкновенно (кажется, потому, что была очень сильная засуха, и вся труха, солома, сено, — все было особенно готово с успехом принимать искры, кусочки горячих углей, обломочки горящих щеп, которыми в таком изобилии посыпают русские люди свои полы, крыльца, дворы, клети, сенники и все). Весь край находился в пожарном страхе, и Саратов тоже. Поэтому несколько месяцев попадались в разговорах упоминания о предрекшем пожар мальчике, пытались узнать от него, выгорит ли Саратов или спасется от беды; одни из них говорили, что получили от него ответ, некоторые, — что Саратов сгорит, некоторые, что уцелеет, — а другие искренно признавались, что не добились никакого ответа. А когда, с наступлением сырого времени, слухи о горящих городах и селах прекратились и пожарный страх прошел, то мистическое значение [мальчика] заглохло, и вероятно

все саратовцы стали видеть в нем опять только то же самое, что видели прежде: бедного слабоумного крестьянского мальчика, который из своего села (какого-то недалекого) заходит иногда в город, потому что родные не усмотрят за ним по своему рабочему недосугу, или и вовсе не смотрят за ним, оставляют брести куда хочет, в надежде, что никто не захочет обидеть его, бедняжку, такого смиренного, а может быть, и сами, по бедности, рады, когда он уходит с их скудного хлеба на хлеб добрых людей, из которого еще, может быть, и принесет им иной раз две-три краюхи «калача» (т.-е., по-нашему, хорошего белого хлеба, какого бы то ни было).

Итак, этот мальчик приобретал мистическое значение лишь очень не надолго, да и в это недолгое время занимавшее лишь немногих, да и тех слабо. Точно так же очень немногие говорили и говорили чрезвычайно [мало] о другом существе, которое должно было производить собою мистическое впечатление. Это была девушка, во время моего детства уже не молодая, высокого роста, видная собою, ходившая круглый год только в обыкновенной женской рубашке обыкновенного крестьянского холста, по своей толстоте очень достаточного и в виде одной рубашки на удовлетворение требованиям приличия, босиком и с непокрытою головою. Мальчик, о котором я говорил, занимал собою только одно — да и то не все — лето, и его длинной рубашки было довольно для этой поры года, а как он ходил в холодное время и ходил ли, я не знаю, а вероятно, если родные его выпускали из родной избы зимою, то обували и одевали в теплое, какое могли, — иначе интересовавшиеся им во время его известности городу вероятно упомянули бы о босом в одной рубашке по морозу. Но эта девушка ходила так круглый год по саратовскому морозу, когда иную зиму недели две-три сряду термометр стоит между 20° и 30° мороза, — это, конечно, было потрясающее зрелище. Мальчик, о котором я говорил, только бродил по городу из дома в дом. Эта девушка не бродила по домам и редко соглашалась посетить кого из звавших ее: она ходила только по церквям, на все службы дня, каждый день. Младшая сестра моей бабушки Анна Ивановна, знакомая с нею, говорила, что ужасно смотреть на нее, неподвижными ногами стоящую на каменном полу церкви полтора-два часа, — на полу нетопленной церкви, который почти так же холоден, как открытая паперть. Анна Ивановна, кажется, и познакомилась с нею по обстоятельству этого рода: часть пола в одной церкви, где они бывали, чугунная, и девушка, стоявшая на чугуне, не могла выдержать своей неподвижности, — по временам переступала ногами, и на лице ее было видно страданье. Анна Ивановна после службы заставила ее зайти к себе (Анна Ивановна жила тогда подле этой церкви), заставила вытереть ноги вином. Разумеется, такой рассказ запоминается, но только я не уверен в том, с этого ли случая началось знакомство Анны Ивановны с девушкою, или девушка и прежде уж бывала у нее. Мальчик мало говорил, но потому, что был слабоумный, и сколько умел, столько говорил. Девушка была совершенно умная, и очень умная, но совер-

шенно молчала. Никто не навязывал ей никаких предречений или символических предреказаний будущего, не навязывал ей ни значения святой, ни чего подобного, считали ее подвижницею, — и только, и говорили о ней очень немногие очень мало. Кажется, только от Анны Ивановны мне и случалось слышать сколько-нибудь длинные рассказы о ней, и от Анны Ивановны мы узнали, что она и что это она делает над собою. Анна Ивановна была знакома с крестьянскими семействами, знавшими ее.

Она и сестра остались сиротами из небедной крестьянской семьи, были в это время уже взрослые девушки и продолжали жить одни, по крестьянскому быту не бедно. Старшая сестра была или младшая, не припомню, но только управляла хозяйством она, потому что была очень дельная и бойкая девушка; и говорить была мастерица. Стал сватать ее сестру жених. Сестра не хотела идти за него, — не потому, что жених не нравился, а так, сестра что-то боялась его, сама не знала почему. Она уговорила сестру и выдала за него. Но он вышел негодяй и жестокий человек, истиранил и очень скоро забил в гроб сестру. Тогда-то эта девушка, в мучении сердца, что погубила сестру, наложила на себя такое страшное наказание и перестала говорить — язык ее погубил сестру. Так она провела много лет, — быть может 15, — но, конечно, свалилась еще в молодых летах. Последнее, что я слышал о ней, было, что она безнадежно больна ногами: они были поражены, вероятно, гангреною.

Но, чтобы не оставаться теперь долго под впечатлением этого своего воспоминания, стану рассказывать о другом подвижничестве, которым занимался один из родных наших, — не припомню, кто именно. Это фамильное сведение было мне сообщено случайно. У двери в нашей передней лежала плетенка из пакли для обтирания ног. Кто-то из старших нашего семейства, взглянув на нее, припомнил, что некогда лежала на этом месте с тою целью власяница. Какая власяница? спросил кто-то из нас, младших. Бабушка рассказала нам. Кто-то из ее старших родных, — вероятно, отец или дядя моего дедушки, ее мужа, жил у них в доме, и был уже старичок, и выпивал иногда. Как подопьет, кричит: «подайте власяницу, спасаться стану», — и надевает; как пройдет похмелье, власяницу долой, велит опять положить у дверей для обтирания ног; опять подопьет — опять подавай ему власяницу. Зачем же, когда так, ее клали для обтирания ног? Он сам так хотел, думал, что ее грязность помешает ему надевать ее, когда подопьет, потому что сам смеялся над этою фантазиею своего хмеля. Мы уже смеялись над старичком, вспоминая о котором улыбалась бабушка; но мы сидели в комнате, окно которой смотрит на запад, а был вечер, и хороший вечер — бабушка взглянула в окно на пурпуровое небо и призадумалась, — долго любовалась и продолжала: «Вот, бывало, и он так смотрел, — он, дети, уж перестал выпивать, — станет к окну, когда солнышко заходит, и все смотрит, и говорит нам: Какое-хорошее оно, Полянка и Егорушка, солнышко-то! Весело на него

смотреть! Полюбуюсь я на него, пока глаза смотрят, — уж недолго им смотреть на него (он уж был слаб, дети), посмотрю, порадуюсь на него, пока он жив. Любил он это. Добрый и хороший был старичок, дети».

Мои воспоминания, капризно соединившиеся на этих последних страницах, хорошо передают своею последовательностью общий характер той стороны впечатлений моего детства, от которой будто отвлекли меня: то, что было трагического или ужасного в малочисленных впечатлениях, имевших фантастический колорит, быстро сглаживалось впечатлениями, в которых фантастические тенденции представлялись со смешной стороны, и над всем этим господствовало впечатление, что люди, близкие ко мне, — добрые и хорошие люди. Но об этом после. Теперь надобно докончить очерк соприкосновений моего детства с живыми людьми фантастического мира, надобно рассказать о важнейшем для моего детства из этих людей, Антонушке или Антоне Григорьевиче.

Благородную подвижницу, подвиг которой я уже и тогда понимал, как чисто человеческий подвиг, не фантастическое стремление, а страдание о действительном несчастье нашей простой человеческой жизни, эту девушку я никогда не видал сам, только слышал о ней изредка. Бедного мальчика, не надолго и слабо выданного за прорицателя без всякой вины его самого в этой чужой глупости, я видел мельком только два раза, и в оба вовсе неинтересным ни для моей фантазии, ни для окружавших меня. И обое они, и подвижница, и бедный мальчик, мало кому были известны, нисколько не составляли общего достояния городской жизни. Юродивый или блаженный Антонушка был известен всему городу, очень интересовал собою тысячи людей из саратовцев много лет, имел сотни горячих читателей и (конечно в особенности) читателей, был очень часто нашим гостем, часто сидел по долгим часам, много раз и ночевал у нас, раза два-три даже имел дня по два, по три приют у нас от гонений за свои подвиги. Те двое занимали бы мало места в моем детском дневнике, если бы я вел дневник в такие годы, когда никто не ведет дневников, Антонушкою было бы наполнено довольно много страниц.

Антонушка в начале 1840-х годов был человек не молодой, но далеко еще не старик, небольшого роста, сухощавый, с очень темными или и вовсе черными волосами и бородою, в которых при начале моего знакомства с ним не было еще ни одного седого волоска, с карими или и вовсе черными глазами, очень живыми, острыми, и лицо его, довольно красивое, поддерживало своею выразительностью производимое его глазами впечатление, что он человек умный, быть может, человек большого ума. Он и не хотел прикидываться дурачком, — нисколько: юродство его состояло в том, что он пренебрегает условиями житейской формалистики для назидания своих заблуждающихся или слабых в вере ближних по Христу, отрекся сам от благ мирских для душевного спасения, находит полезным излагать свои назидания аллегорическим языком, делает

иногда и поступки, имеющие аллегорическое значение, — вот, только и всего юродства в нем. Но дурачком он не хотел казаться, и никто не принимал его за дурачка. Были люди, — немногие, — которые говорили, что он плутоват, что он просто лентяй, которому стало лень пахать землю или управлять своим хозяйством, понравилось жить на чужой счет, ничего не делая, но и немногие говорили это больше только так, для легкого остроумия, почти что только в шутку или насмешку, а не серьезно. Кое-что такое, очень немножко, могло быть в Антонушке, — настолько, насколько вольная жизнь без обиденной прозаической работы имеет свою долю прелести почти для каждого даже из очень трудолюбивых людей. Но я уверен, что Антонушка если и находил в этой беззаботной воле некоторое вознаграждение за хлопоты и неудобства своего призвания, то принял на себя юродство вовсе не по тунеядским наклонностям, а действительно по призванию, по искреннему влечению служить на пользу ближним и тем спасти свою душу. А предполагать его плутом — чистая нелепица. С такими глазами он мог бы быть плутом, если б захотел, — у него достало бы ума на плутовство. Но он был совершенно честный и благородный человек; я говорю: «был» — быть может, еще и «есть» — он еще не так стар, чтобы уж пора была предполагать его умершим.

Происхождение его юродства вот какое. Он был очень зажиточный или и вовсе богатый мужик. Занимался своим хлебопашеством или своею сельскою торговлею, — не умею сказать в точности, но, кажется, хлебопашеством, — старательно и успешно, коротко сказать, был дельный мужик. Но в какой-то тяжелый год, — какой именно, не припомню определенно: в холерный ли год (первой холеры, она важна в народной памяти, вторая, как все знают, далеко не произвела такого впечатления, хотя была едва ли не сильнее первой⁶), в голодный ли год, — его совершенно увлекла жалость к людям, он всячески помогал всем в своем селе и округе, израсходовал на это все свои излишки и так пристрастился к деятельности «брата милосердия», что, когда крайняя всеобщая нужда в материальном пособии прошла с народным бедствием, он обратился к подаванию нравственной помощи: бросил хозяйство, сдал его жене, бросил жену и детей и пошел бродить по саратовскому свету. Но забота о подавании нравственной помощи, в которой, с его точки зрения, нуждались, конечно, все, не заслоняла от него понимания, что следует оказывать и материальную помощь несчастным. В первые годы его знакомства с нашим семейством, когда карьера его юродства была наиболее успешна, он [в] своей избушке, — у него была тогда нанята особая избушка, — поместил одного, потом двух, а может быть и троих, неизлечимо больных и бесприютных бедняков, то-есть устроил у себя больничную богадельню, какую мог по своим средствам, и ухаживал за помещенным или помещенными в ней, как следует доброму человеку, взявшему на себя уход за больными. С этой стороны в чем состояло его юродство? — он выражался о своих больных фигуральным язы-

ком, называл их «жемчужинами» или «перлами», или «сокровищами», что-то в этом роде, называл их также «подарочками, которые послал ему бог», — эту метафору я помню хорошо. Но тем не ограничивалось юродство: раза три-четыре приходилось нам узнавать, от него или по слухам, такие выходки. Антонушка приходит к зажиточному хозяину или хозяйке и ведет свои речи, половину которых не могут хорошенько разобрать слушающие, потому что аллегоризм очень преобладал у него и сам по себе уже часто бывал туманен, а кроме того, он любил иронические юмористические обороты, и они, усложняя аллегоризм, еще более затрудняли ум слушающих, вообще, конечно, людей не бойких в мышлении. Очень часто они даже не знали, как решить: шутит он или говорит серьезно, хвалит или порицает. Такова, разумеется, и должна быть речь юродивого. Вот, в этой речи Антон Григорьич и вставит обещание, что он завтра, послезавтра «привезет подарочек»; если догадаются, скажут: «Нет, Антон Григорьич, не надобно, у нас своих хлопот много», — он примет оговорку; но не всегда же догадывались, особенно сначала. Антонушка в это время часто разъезжал на ломовом извозчике, а по временам бывала у него и своя тележка и лошадь: он собирал иконы для некоторых церквей в селах, собирал старое платье, собирал всякий хлам для бедных и, принимая подарки этого рода, иногда получал понемножку денег, сам часто оплачивая за них подарками: иконами, маленькими образами, еще чаще просфорами и т. п. — поэтому легко было не предположить особенного умысла ни в «привезу», ни в «подарочек» — и если говорили: «Привези, Антон Григорьич, очень благодарны будем», — он на другой, на третий день рано поутру привозил больного старика или дряхлую старуху на ухаживанье напросившимся, конечно, те отказывались, сердились, выходили истории, в особенности, когда Антонушка не сам привозил «подарочек», а нанимал ломового извозчика и отправлял с ним больного, уверив ничего не подозревающего извозчика, что там уже ждут этого гостя, или когда он, привезши сам на рассвете, летом, в теплую погоду, оставлял «подарочек» на пустом крыльце, а сам уезжал. Он всячески дельвал. Помнится, я раза четыре слышал такие истории, значит, их было не очень мало. Кончалось, разумеется, тем, что его заставляли брать больного опять к себе и долго на него сердились.

Еще больше юродства было в его проделках над монахами и монашенками; он любил бранить и тех, и других, — и натурально было, что человеку с восторженными понятиями о нравственных обязанностях особенно досадно было находить обыкновенных людей в классе, которому, по его мнению, следовало вести самую суровую жизнь и отличаться ангельскими качествами. Мужской монастырь Саратова, находящийся за городом и очень скудный и средствами, и числом живущих в нём, меньше занимал собою Антонушку, чем женский, — да и наше семейство почти вовсе не имело отношений ни к монастырю, ни к его жителям, и слухи оттуда

слишком плохо доходили до меня; но все-таки я слышал раза два, что Антонушка, во время службы, когда монахи в церкви, забирался в их кельи, разливал и разбрасывал по двору небольшие запасы съестного и тому подобного, какие находил. Вероятно, и это не обходилось без неприятностей. Но главным предметом его проделок был женский монастырь. Он стоит в середине прибрежной полосы города; в нем тогда жило, если не ошибаюсь, до сотни монахинь и послушниц (больше послушниц; число монахинь, — то-есть лиц, уже давших торжественный обет монашества, — было сравнительно невелико); они часто встречались на улицах, бывали во многих домах; монастырь имел порядочные средства, постоянно шли в нем постройке и пристройки, — значит, была возможность; мать игуменья и некоторые из сестер играли довольно заметную роль в некоторых, немногих и не бог знает как важных, но все-таки почетных провинциальных кружках. Следовательно, нельзя было Антонушке не заниматься женским монастырем усердно и постоянно.

Был ли саратовский женский монастырь особенно достоин его преследования? Сколько я знаю, — а я все-таки не мог не знать его довольно порядочно, — он не был хуже других женских монастырей. И я полагаю, что характер всех женских монастырей одинаков, — не только русских между собою, но и католических женских монастырей всех стран. Между мужскими есть большая разница, от какого-нибудь сен-бернарского до тунейского римского; от антипатриотического французского с иезуитским духом до протестантского и пламенно патриотического сицилийского; и русские обыкновенные мужские монастыри имеют особый характер, собственно русский, а кроме их есть особенные монастыри, каждый с своим индивидуальным характером. Но женские монастыри почти все во всей Европе одинаковы, и потому мне нет нужды описывать тогдашней жизни саратовского женского монастыря, — по крайней мере, здесь; в следующих главах быть мо[жет]. Всякий и не слышавший никогда о ней знает ее по многочисленным описаниям совершенно подобных учреждений. Те из саратовских православных, которые занимались этим монастырем, вообще находили его хорошим.

Но Антонушка был гонителем женского монастыря. В том же роде, как два-три раза в мужском, он гораздо чаще юродствовал в женском. Особенно эффектно вышла одна его проделка: также во время обедни, забравшись в пустые кельи, он в довольно многих успел выпустить пух и перья [из] перин и подушек, а в них вместо прежнего положил кирпичи, которых заранее натаскал с другого конца двора, где что-то строилось. Они должны спать на камнях, какие они монахини, когда у них подушки и перины? — говорил он, когда его потом порицали за это. Народ, выходя из церкви, изумлялся, видя весь монастырский [двор] усыпанным перьями и пухом. Когда монахини возвратились в кельи и увидели, что такое это сочинено, они тотчас догадались, что это дело Анто-

нушки, стали ловить его, но он успел убежать и несколько дней прятался.

Конечно, ему нередко приходилось бегать и прятаться. Я не припомню, чтобы в его проделках бывало что-нибудь сальное или дрянное; полагаю, что рассказанная мною — самая резкая из [них], по крайней [мере], о ней только и говорили, когда по какому-нибудь новому, менее важному юродству вспоминали прежние. Но, конечно, полиция была совершенно права, не одобряя и таких подвигов. На него жаловались, — жалобы были основательны, — полиция искала его, иногда и отыскивала; поступала с ним мягко, — разве иногда, кажется, бывала принуждена поддержать его под арестом двое-трое суток, только и всего, но главное — старалась выжить его из города, — несколько раз отсылала в родное село — кажется, где-то около Петровска. — Кстати о Петровске: один из моих бывших приятелей, а нынешних противников по литературе и прочему вздору очень мило доказывал, что действие «Ревизора» происходит именно в Петровске: и точно, это очень вероятно, по соображению маршрута Хлестакова, и пусть Петровск пользуется хоть этою известностью, при совершенной невозможности иметь никакой другой⁷. — Итак, Антонушку иногда высылали из Саратова в Петровский уезд, но он опять появлялся. Хорошо, когда обижавшиеся жаловались полиции, а иногда и сами расправлялись и бивали его сильно; несколько раз он лежал не по одному дню от побоев.

Но все это я рассказываю по рассказам его самого и других. А каков он был в обыкновенном своем занятии юродством, за исключением этих экстренных проделок? Бывая у нас по временам очень часто и очень подолгу, он всегда бывал вот каким. Когда ему не мешали говорить, он говорил своим аллегорическим языком; когда хотели не слушать его, а рассказывать, он слушал, как и всякий обыкновенный человек на его месте; когда не хотели ни слушать, ни говорить с ним, а занимались разговором между собою, мимо него, он иногда и подолгу сидел молча, как сидят в подобных случаях обыкновенные неважные гости у хозяев, важных сравнительно с ними; часто он не выдерживал этой безмолвной почтительности, вмешивался в разговор, когда другой простой человек не вмешивался бы, но эту смелость не столько брал он на себя сознательно, по праву юродства, сколько увлекался природною живостью характера и бойкостью языка: он был из людей «неугомонных», как у нас говорят.

Самое резкое из его назиданий в нашем семействе, — и чуть ли даже не единственное назидание, по крайней мере, я решительно не припомню никакого случая, чтобы он высказал кому-нибудь из нас неодобрение за что-нибудь, — итак, едва ли не единственное, а во всяком случае уж самое [резкое] его назидание было следующее. Моя матушка и тетушка очень много шили (и шили отлично). Чугунных наперстков тогда еще не выдывали в Саратове, были только медные, плохие, тоненькие, хиленькие, скоро прокалывав-

шиеся от работы. Часто меняли их, а все-таки часто кололи руки, — ведь нельзя же менять, как прокололся хоть в одном месте: неко- номно было бы, еще послужит, только нужно остерегаться, не под- ставлять под иголку проколотое место, — итак, часто кололи; и на- конец вздумали вот что: и матушка, и тетушка заказали себе се- ребряные наперстки с железными верхушками, служащими под иглу. Эти наперстки, безвредно для себя и для рук служившие по- том множество лет (думаю, не служат ли еще и теперь тетушке и старшей моей кухне), были одной из величайших прихотей ро- скоши моих матушки и тетушки; оба они вместе обошлись чуть ли не больше трехрублевого (75 коп. серебром), но меньше целкового, это я помню, что меньше. Вот, однажды, Антонушка, проходя че- рез гостиную, увидел на столе у зеркала один из этих наперст- ков, приостановился на секунду, будто взглянуть в зеркало, и тот- час же пошедши дальше, шага через два-три произнес: «а вот я хочу себе серебряный кочедычек* сделать».

Только и всего было. Больше он ничего не сказал, — да этот упрек в роскоши, как дипломатично он сделал? — Я уже сказал, что не помню не только случая более прямого назидания, но и вовсе никакого другого случая назидания.

Итак, Антонушка был дипломат, очень и очень тонко соблю- давший границы в своем юродстве. И как следует умному, он дер- жал себя к разным членам нашей семьи в разных отношениях, смотря по тому, кто какие отношения хотел допускать. Батюшка мой, человек занятой и по своему характеру не любивший видеть никаких выходов, совершенно связывал его юродство своим при- сутствием, — хотя тоже, по своему характеру, никогда не делал ни словом, ни выражением лица никакого намека в смысле того, что «не нравится это мне, Антон Григорьевич». — Антон Григорьевич без- всяких намеков соображал, что не нравится моему батюшке, и ста- рался не делать этого. И не потому, чтобы боялся его, — мой ба- тюшка был не такой человек, да и Антонушка не стеснялся входил к нему в кабинет, когда батюшка сидел (как сидел большую часть каждого дня) за работою, — подходил под благословение, обмени- вался несколькими словами, без всякой робости. Нет, он не боялся, а просто понимал, что его юродствование не нравится моему ба- тюшке, что моему батюшке и некогда, и скучно заниматься с ним, — потому и ограничивался обменом недолгих и неважных разговоров с ним, как делает всякий гость относительно тех членов знакомой се- мьи, собственно к которым не относятся его посещения. Почти так же держал он себя с моею матушкою, тетушкою, дядюшкою (мужем те- тушки), — он бывал не у них, — они были не его компания, они были тоже ласковы к нему, как и мой батюшка, но он очень хо- рошо понимал, что эта ласковость происходит, во-первых, от ува- жения их к Пелагее Ивановне, их матери, во-вторых, оттого, что все они вообще люди ласковые и добрые, но что напрасно было бы

* Нечто вроде широкого шила; им плетут лапти.

надоедать им; он и не надоедал. — Даже с нами, детьми, он не позволял себе бесцеремонностей, — был ласков, шутил, как всегда взрослый добрый и неглупый гость считает нужным заниматься детьми хозяев, — да он и по правде любил детей, как почти всякий добрый человек, — но, лаская и говоря шуточки, он не фамильярничал с нами, детьми. Вот пример его дипломатичности относительно даже нас, детей. Мы, когда не были заняты делом или играми, больше всего бывали в комнате бабушки, между прочим, уже и потому, что в те годы она была столовою, в ней все соби-
рались пить чай, — она была, так сказать, самую жилою из всех жилых комнат. А он, как гость бабушки, сидел почти все только в этой комнате. Когда бывало удобное ему время, он устраивал молитву: становился поближе к образам и начинал петь церковные гимны своим звонким тенором; бабушка стояла и тоже молилась. Мы, дети, большею частью уходили, как начиналось это; я не припомню, чтоб он когда или удержал, или хоть заметил, что не следует уходить, а надобно оставаться и молиться. Но попадавшихся ему под руку детей прислуги он брал за руки и ставил молиться вместе с ним и бабушкою. Мало того, что он не хватал нас за руки или не старался замечаниями остановить для моления; он и вообще не навязывался нам, детям, даже простыми разговорами: он видел, что мы — не то, что не любим его, а не охотники быть его собеседниками, — и этого было ему достаточно, чтобы соблюдать очень большую умеренность в количестве своих ласковых разговоров с нами.

Итак, он был собственно приятелем только бабушки Пелагеи Ивановны. Из того, как он держал себя относительно остальных наших старших, уже понятно, как они смотрели на него, — как на человека доброго, стремящегося делать хорошее, но в стремлении бросившегося на странную дорогу, которого нельзя порицать за ошибку, потому что он человек безграмотный, — что с него требовать в тонком распознавании удачного и неудачного морализованья? — но и только, то-есть, что сам по себе он хороший человек, и не надобно судить о нем строго. Снисходительность к странностям экзальтированного, честного, но невежественного стремления — вот взгляд на Антонущку, который сообщался мне, ребенку, отношениями моих батюшки, матушки, тетушки, дядюшки к Антону Григоричу и суждениями о нем. Но он бывал собственно у бабушки, из уважения к ней ласково принимали его другие наши старшие, — каковы же были отношения к нему бабушки, его приятельницы? — Она была большая приятельница ему; мало того, что она потчевала его и чаем и обедом, — это делали все наши, это было в тогдашних провинциальных нравах — не оставлять без участия в своей, все-таки более хорошей, пище бедного человека, попадающего в комнаты незадолго перед временем чая или обеда, — и я скажу, что в этом старом хлебосольстве, неудобные и пошлые стороны которого я осмеиваю уж наверное не хуже кого угодно, вредные стороны которого я могу расписать так, как едва ли кто

другой, — не потому, что мне или моим близким приходилось испытывать их — нет, оно не имело вредного влияния ни в нашей семье, ни вообще в Саратове, а потому, что мой идеал человеческого быта слишком различен от быта, элемент которого составляет хлебосольство, — итак, я скажу, что в этом хлебосольстве главным элементом было хорошее, доброе человеческое чувство: его не следует выводить из праздности, из того, что съестные припасы были дешевы или ничего не стоили, — все это вздор: где хлеб стоит 25 коп. сер. пуд, там 25 коп. ценнее 5 рублей Петербурга или Лондона; расчетливым хозяевам, то-есть большинству хозяев, угощение везде составляет одинаковый по размеру их средств расчет, а дела у дельных людей, т.-е. опять у большинства людей, везде довольно и праздного времени мало, и в провинциальной глуши забот и работ не меньше, чем у хлопотливейших и замкнутнейших петербургских людей, — но дело в том, что глухая жизнь захластья имела стороны, развивавшие добродушие, и эта сторона ее выразилась хлебосольством. Опять замечу: эта жизнь едва ли имеет в ком-нибудь более безусловного противника, чем во мне, — я на нее смотрю так, как из сотни читателей 99 могут смотреть разве на жизнь чукчей и бурят, но не в том дело: на Шпицбергене бывают часы теплого времени, и в самом дрянном быте есть что-нибудь теплое и милое, — из этого не следует, что на Шпицбергене сносный климат, не следует также, что не должно всеми силами стремиться к замене дрянного быта более хорошим.

Ну-с, итак, дружба бабушки с Антоном Григорьевичем доказывает не тем, что бабушка поила и кормила Антонушку, это еще не велика важность; но Антонушка считал наш дом одним из вернейших своих приютов от гонений, — вот это уж значит, что у него было мало таких надежных друзей, как бабушка. И точно, она давала ему убежище от преследователей — давала с готовностью, с удовольствием. Иногда это имело достаточно забавный характер. Уже известно из прежних страниц, что Антонушка навлекал на себя преследования в особенности своими выходками в женском монастыре. Монахини жаловались — и основательно; нельзя было начальству не дать хода их претензии, не подвергнуть Антонушку преследованию. Кто ж был это начальство, бывшее посредствующим звеном гонения, воздвигавшегося женским монастырем и действовавшего руками полиции? — Мой батюшка. Он был благочинный женского монастыря. Ему жаловались монахини. Он, если мог, обязан был предать Антонушку в руки карающей власти, а если не мог сам, то подвинуть эту карающую власть не [только] к покаранию пойманного Антонушки, но и к предварительной поимке его для покарания. И не раз случалось, что в то время, как мой батюшка жалуется полиции на Антонушку, и ни батюшка, ни полиция не знают, где отыскать Антонушку, Антонушка живет у нас в «людской», по распоряжению, отданному бабушкой при слуге: «Спрячьте Антона Григорьича в людской, да не говорите Гаврилу Ивановичу, что он у нас». Значит, была дружба. Конечно,

гонители не были ожесточенными врагами — у полиции и у моего батюшки были дела важнее антонушкиных проказ, да и у самих монахинь тоже, — через три-четыре дня монахини готовы были бы и сами простить его, а мой батюшка и полиция забывали о нем. Итак, просидев два-три дня в людской, он безопасно являлся опять в свой свет. Но все-таки, мне помнится, раза два-три батюшка, узнавая после все дело от самой же бабушки, говорил ей: «Матушка, зачем вы у себя-то прячете его? Нехорошо, пусть прячется где в другом месте; а то скажут: да благочинный-то ему и потатчик». — «Ну, всего не переслушаешь, что будут говорить: я прятала, а не ты», — отвечала бабушка. — «Э, матушка, вы все так», — отвечал батюшка, и тем кончалось объяснение. Из этого видно, что не могло быть важных размолвок между бабушкою и батюшкою из-за Антона Григорьича; но все-таки бабушка знала, что поступает неловко относительно зятя, скрывая Антона Григорьича, а семья наша была дружная, никто в ней не любил делать неудобного для других. Значит, дружба бабушки к Антону Григорьичу была сильна. Как же бабушка смотрела на него?

Но вот что: как бы ни судила бабушка об Антоне Григорьиче, хоть бы выставляла его за святого, а нам, детям, в том числе и мне, из этих историй преследований Антона Григорьича моим батюшкою, прятания его моею бабушкою и следующих затем объяснений между гонителем и покровительницею видно было, что все это пустяки: если бы дело Антона Григорьича было важное, то бабушка не стала бы его прятать, когда батюшка ответчик за ее прятанье, — стало быть, Антонушку преследуют из-за пустяков, следовательно Антонушка занимается пустяками, следовательно, что бы ни говорила бабушка об Антоне Григорьиче, а мне, ее внуку, ясно было, что в сущности и она, подобно всем нашим старшим, понимает, что Антонушка занимается пустяками.

Но нечего было мне самому доискиваться этого — это я не только слышал в разговорах других старших между собою, это говорила сама бабушка самому Антону Григорьичу, своему приятелю. Старушка была охотница поговорить и послушать, у ней было довольно много неважных старух и стариков, которые годились для ее развлечения разговорами, и Антонушка занимал место между ними, и далеко не первое место по уважению бабушки. Как так? — Пелагея Ивановна принимала Антона Григорьича не за человека, заживо причисленного к лику святых, даже не за особенного просветителя духовной жизни? — Да, и до такой степени, что не он ей читал, а она ему читала мораль: «зачем же ты это делал, Антон Григорьич», — «этого не надобно делать, Антон Григорьич», — «это нехорошо, Антон Григорьич». — А что ж Антон Григорьич? Антон Григорьич защищался, оправдывался, извинялся, признавался, винулся, — но больше увертывался своими аллегориями, а бабушка, не обращая внимания на их высокий смысл, настаивала на своих советах обыкновенного здравого смысла.

Легко теперь рассудить, была ли мне опасность очароваться фантастическим элементом в лице Антона Григорьича, или была ли хоть возможность придать какое-нибудь важное значение этому элементу из-за личности Антона Григорьича.

Во мне, как в ребенке, только заметнее выражалось то отношение к нему, в какое стал к нему я по примеру своих старших — матушки, тетушки, дяди, — они сторонились от интимности с Антонушкою, а я и вовсе сторонился от него, — по тем же причинам, как и они: он чудак, он занимается пустяками, он говорил бог знает что, потому что хоть и умный человек, но не за свое дело взялся, — что он понимает в нравственности? — он сбивается с толку по своей необразованности; с ним скучно и неприятно. Неприятно потому, что он все говорит ломаным языком, который приторен; и еще потому, что он не совсем опрятен.

Да, уж и этого одного было бы довольно, чтобы он производил на нас, детей, впечатление, не располагающее ни к интимности, ни к благоговению. Не то, чтобы он щеголял неопрятностью, напротив, он заботился о благовидности, как следует: мазал и причесывал голову, стараясь о чистоте своих сапогов, умывался, все, как следует; но стараясь быть совершенно как следует, он все-таки оставался неудовлетворителен на мой взгляд: от его полушубка пахло кислою овчиною, как от всякого полушубка, а он не всегда снимал его (этот полушубок был засален, как обыкновенно); он брал стакан, захватывая пальцем внутрь стенки, не замечая, что другие так не делают, — и много таких мелочей. Словом, он был мужик из глухого села, куда не проникла утонченность городов и сел, лежащих на бойких местах. У нас бывали и сельские родственники, очень незнатные, у бабушки бывали и городские гости и гости такие же незнатные, которых я находил приятными для себя, но это были уж другого образования, светские благовоспитанные люди сравнительно с Антонушкою. Мне было приятно сидеть с чистенькою, деликатною «иерусалимкою»⁸ Прасковьею Ивановною, я не чувствовал разницы между нею и собою, и разговоры ее были достаточно деликатны, и ветхий капот хорош и все хорошо, а Антонушка был неприятен.

Когда я был уже взрослым мальчиком, лет 12, Антонушка стал часто и надолго пропадать из Саратова, — сначала только по случаю удаления полидию в свой уезд, а потом и по собственному желанию: карьера его суживалась год от году, все яснее он видел, что его считают в Саратове чудачком, все меньше находил он сочувствия; да, вероятно, ему самому стало по временам надоедать юродство, и я полагаю, что он удалялся в свою глушь не столько для того, чтобы подкрепить свою ревность в кругу более ободряющем, сколько для того, чтобы в безвестности отдохнуть от принятого им на себя подвижничества. — Но как бы то ни было, звезда его юродства померкала.

В последние годы перед отъездом моим в университет Антон Григорьич получил официальное положение, очень мало гармони-

ровавшее с юродством. Когда он, явившись после долгой отлучки, объявил нам, что «теперь Антон Григорьич купец 2-й гильдии, вот как», долго никто из нас не хотел принимать этого иначе, как за шутку. Но действительно было так, он стал купцом 2-й гильдии. Его дети, — два сына, — вышли дельные, умные люди и пошли служить по откупам; стали получать хорошее жалованье, по их служебным расчетам оказалось полезно причислиться ко 2-й гильдии, и они записали в нее отца. Они упрасивали его бросить подвижничество, которое, конечно, считали дурачеством; он тогда еще не слушался их вполне, но перестал делать выходы, не одобряемые полицією, и ограничился аллегоризированьем в речах. — Как следует всякому, не бывавшему дальше губернского города, он имел вражду к Петербургу, называл его «дьявол-город» за его безверие (совершенно напрасно: в Петербурге гораздо больше набожности, чем в Саратове; совершенная напраслина также считать Петербург только полурусским городом: наша национальность в массе его населения господствует нисколько не слабее, чем в Саратове; а высшие классы везде имеют в себе очень много иностранцев. У нас любят видеть особенную черту русской официальной жизни в том, что она представляет очень много немецких фамилий; во французских списках чиновников и сановников наберется, конечно, почти такая же пропорция итальянских, английских и особенно немецких фамилий; в немецких списках неисчислимое множество французских фамилий. Особенного тут мало. Люди высших сословий имеют больше средств переезжать из одной страны в другую, потому высшие классы везде получают много иноплеменных элементов, и это прекрасно; надобно желать, чтоб и массе становились доступны эти удобства сближения племен). — «В дьявол-город, за рябу (рябую) реку поехал», — с сильным порицанием отзывался, бывало, Антон Григорьич об отправлявшихся в Петербург; но его сыновья вслед за откупщиком или управляющим откупа, своим патроном, переселились в Петербург, и я не слышал от Антона Григорьича, чтобы он огорчался этим, считал людьми, губящими свои души, — да, кажется, следовало бы ему и вообще скорбеть о том, что сыновья погрузились в житейские заботы, пекутся о благах земных и забывают о душевном спасении, сидя над счетными книгами и производя ревизии, — нет, он от души радовался, что его сыновья и вышли дельные люди, и служат хорошо, и теперь живут в благосостоянии, и зарабатывают себе кусок хлеба на старость, утешался этим, как утешался бы всякий обыкновенный отец.

Купец 2-й гильдии, отец, утешающийся успехами детей по службе, — это уж такая проза, что из рук вон; но и прежде ее наступления Антон Григорьич, как я полагаю, очень видно, не был интересен для моей детской фантазии, не играл никакой роли в моей детской жизни, — да тоже и в жизни города Саратова, даже и в жизни той части горожан, которые принимали его. Зачем же я посвятил ему столько страниц? — Это потому, что

я хочу вывести великие философские истины из его роли в городе Саратове, хочу возвести в тип всемирно-исторический. Но еще надобно повременить с этим, это уж будет в общем выводе, которым стали выражаться впечатления моего детства в образе моих мыслей, когда я стал искать для себя убеждений более удовлетворительных, чем смесь Голубинского и Феофана Прокоповича с Ролленом в переводе Тредьяковского и всяческими романами, журнальными статьями и учеными книгами всяческих тенденций сочинений Димитрия Ростовского до Диккенса и Белинского. А теперь пока надобно еще докончить очерки живых отношений моего детства к живым людям фантастического направления.

Антонушка был человек далекий мне, хотя и бывавший часто на моих глазах. Но было другое лицо, от близости с которым нельзя было отказаться, — наш родственник, в какой именно степени родства, не знаю, но звавший прабабушку тетушкой, следовательно, по всей вероятности, двоюродный брат моей бабушки, — Матвей Иванович Архаров. Он был очень богомолен и благочестив, говорил о божественном и простираал свое усердие к спасению душевному до того, что Антонушка оказывался перед ним холодным рационалистом и однажды даже произвел раздражение его вицмундирного фрака для удержания его на земном поприще. Эта сцена произошла таким манером, что однажды Антонушка, частый гость Матвея Ивановича, сидел с ним поутру, — кажется, переночевав у него, — и Матвей Иванович, служивший где-то столоначальником, контролером или архивариусом, стал одеваться: сначала он пойдет, простоит обедню, — Матвей Иванович бывал у обедни каждый день, — а потом, — день был будничный, — пройдет и в должность. «Нет, ты к обедне не ходи, — стал говорить Антонушка: — у тебя церковь в будни — служба твоя, тебе на нее пора, в должность тебе пора, ступай в должность». — Заспорили; Матвей Иванович пошел, Антонушка за ним, Матвей Иванович идет в церковь (он жил у самой ограды Ильинской церкви, ему и Антонушке нужно было пройти лишь несколько шагов, чтобы достигнуть развязки, которая произошла). — «Не пущу, ступай в должность», — твердил свое Антонушка и загоразживал ему дорогу, когда он повернул к церкви; Матвей Иванович отсторонил или обошел его и шел себе к паперти, Антонушка за ним; «не пущу», «не послушаюсь» — и побежал от Антонушки, — Антонушка пустился вслед и поймал за фалды фрака, развевавшиеся на бегу; Матвей Иванович рванулся, фалды отлетели, — и Матвей Иванович пошел домой отдать Александре Павловне пришить оторванные фалды.

«Но, значит, Антонушка не был фанатик, если рассуждал, что Матвею Ивановичу душевспасительнее будет сидеть в должности, чем заставлять других работать за себя?» — Значит.

Матвей Иванович прежде был горьким пьяницею. Если бы он пил запоем, это было бы [не] порицанием ему, а только его несчастною судьбою. Не знаю, всем ли ныне так твердо известна раз-

ница между «пьет запоем» и просто «пьянствует», как была известна она в мое детство в простом народе и в среднем классе. Пьющий запоем вообще — не берет капли вина в рот, но по временам он пьет несколько недель сряду, не выходя из хмеля ни на минуту: как приходит несколько в память от выпитого вина, еще совершенно пьяный, тотчас опять пьет до бесчувствия, и эта смена бесчувствия несколькими минутами питья буквально без всякого перерыва продолжается две, три недели, месяц, больше. Человек ничего или почти ничего не ест в это время. Он страшно истощается, но не столько от недостатка пищи, сколько собственно от питья, — под конец он почти умирает. В эту эпоху крайнего изнурения питье вина прекращается вдруг наотрез, и пивший запоем опять не берет в рот ни капли вина до нового запоя. Эти периоды питья запоем происходят у разных людей различно. У одних они начинаются случайным образом, в совершенно неопределенные сроки, и ближайшим поводом бывает очевидная для всех несостоятельность характера: подверженный запою не остережется, не удержится, — выпьет рюмку в гостях, уступая просьбе глупого упрашивающего хозяина, или сам как-нибудь соблазнившись, — и лишь выпил рюмку, пошло писать неудержимо, начался запой. У других этого не бывает. Они начинают запой не по недостатку твердости или осторожности, — нет, приходит время, запой овладевает ими против их воли не пить, очень твердой, после борьбы, доводящей их до полного физического расслабления. Начинается болезненное состояние души, человеком овладевает тоска, все усиливающаяся, доводящая напоследок до смертельного томления; человек делает всевозможное, чтобы побороть, разогнать ее: или напряженно погружается в дела, или ищет ежеминутной поддержки в обществе других, сидит в своем семействе, чтобы развлечься, лаская любимых детей, чтобы поддерживать свою бодрость разговором с любимой и любящею женою, с уважаемой матерью, — ничто не помогает, он чувствует: «умру, если не начну пить», — и начинает с отвращением, с отчаянием, стыдом. Это время непреодолимого требования организма посещает иных два раза в год, других один раз, правильно, каждого в определенный месяц, один и тот с каждым годом. Этого правильного, периодического возобновления потребности пить нельзя, кажется, сравнить ни с чем так верно, как с потребностью кровопускания, которую чувствуют многие каждый год в известное время: душит, душит человека кровь; если не пустит он кровь, он умрет, — а перед тем он тошкует, мучится. Само собою, что при незазорности запоя в общем мнении многие дрянные люди, просто кутилы, употребляют эту маску в обман, — я, дескать, не кучу, а подвержен запою, я не презренный, а несчастный человек. Но не подлежит ни малейшему сомнению для людей, выдавших простую жизнь, что кроме обманщиков, накидывающих на себя самозванный запой, есть люди, действительно подверженные ему против своей воли, как несчастию, — если запой употребляется в обман, то сам по себе не

обман, а действительная болезненность, все равно как кроме кликушества, накидываемого на себя плутовками, есть действительно несчастные, больные кликушеством. Что такое неподдельное кликушество, это так хорошо разобрано медиками, так усердно разъясняется ими в печати и в разговорах, что и до меня, как вероятно до всякого моего читателя, дошло знание, медицинское объяснение вопроса: кликушество — это истерика, принимающая известный характер под влиянием народных понятий, владеющих и умом страдалицы. Но мне не случалось прочесть или слышать хорошее медицинское объяснение запоя, а теперь, когда пишу это, я не имею под руками ни людей, ни библиотеки, чтобы справиться. Да и характер этого рассказа состоит в том, чтобы писать без справок, только то, что я запомнил и вынес из жизни, говорить только то, что уже собственно мое. Слышанное мною в детстве и молодости о запое оставило во мне такие впечатления, что я составил себе о запое такое понятие. Это меланхолия, та меланхолия, которая в Англии, под влиянием местных условий, приобретает характер сплина, — разумеется, я говорю про серьезный сплин, тот, который нередко заставляет англичан пускать себе пулю в лоб. В русской жизни простого и среднего класса, под другими условиями, меланхолия, развившаяся до сильной болезни, становится запоем. Это такое же местное видоизменение меланхолии, как местное видоизменение истерики — кликушество. Надобно сказать, что характер жизни, о которой я говорю, очень благоприятствует развитию меланхолии: тосклива эта жизнь, очень тосклива. Потому и запой во время моего детства был болезнью очень частою. Наверное, в городе Саратове страдала им не одна сотня людей. Я, будучи ребенком, хорошо знал одного из них. Это был немолодой купец, не очень богатый, — о, далеко нет, куда же, — я помню, как батюшка усердно советовал ему записаться на несколько времени, хоть года на два, во вторую гильдию, для достижения одной официальной цели, которая сильно нравилась этому купцу, — но нет, он не мог пожертвовать несколькими сотнями рублей в удовольствие себе. Этот купец, такой небогатый, был всегда первый в городе по уважению городского общества к нему. Он был честью саратовского купечества, действительно человеком замечательного ума, безукоризненной честности, очень твердого характера. Он вообще вел строгую жизнь и ничего не пил. То, что он страдал запоем, уж никак нельзя назвать ничем иным, как припадками болезни, столь же неодолимой волею, как падучая болезнь. Если бы можно было одолеть ее волею, то у этого купца уж наверное достало бы воли. Но если запой есть сильная степень меланхолии в условиях русской простой жизни, то ему, конечно, и следовало страдать запоем.

Память другого лица, страдавшего запоем, драгоценна мне. Это был спаситель моей матушки и человек очень редкого благородства, медик тогдашней Мариинской колонии питомцев, Иван Яковлевич Яковлев. С тех пор, как помню мою матушку, я помню ее бес-

престанно страдающею мучительною болью — то в правом боку, то в голове, то в груди, то в правой ноге. Иногда переход мучительной резкой боли из одной части организма в другую сопровождался успокоением ее на несколько дней, — будто нервы страдавшей части устали страдать, будто впечатлительность их притупилась, и они передают свою обязанность страдать другим, которые успели освежиться для впечатлительности, а эти будто не спешат входить в свою очередь, принимают боль постепенно; эти промежутки были днями облегчения, — сравнительного, потому что оно все-таки боль очень сильна. Иногда не было никакого промежутка при переходе страшно резкой боли из одной части организма в другую; иногда и две, и три части чувствовали боль во всей резкости: и голова трещит от страшной «стрельбы», и дух захватывает от боли в правом боку, — или другая комбинация. С течением времени страдания все усиливались. Начались они вскоре после того, как родился я, года через 4 были уже очень сильны, еще года через 4 матушка уже большую [часть] дней в году проводила в столах. — Она считала коренным источником всех этих болей затверделость в правой ноге выше колена, — эта затверделость все увеличивалась в объеме и подымалась. Саратовские медики употребляли всяческие смягчающие средства, — припарки, мази, — быть может, для них уже давно было ясно, что надобно бы сделать операцию, но они были плохие хирурги и так добросовестны, что не хотели играть ножом, которым не умели владеть. Дело в том, что разрез надобно было бы производить по соседству [с] одной из больших артерий. Поэтому, когда матушка сама стала требовать операции, медики не соглашались.

Вот, каким-то случайным образом, пробрался к нам один из двух фельдшеров, состоявших при больнице колонии питомцев. Это был человек очень бойкий, хорошо говоривший, по всей вероятности очень неглупый. Он часто приезжал в Саратов (Мариинская колония лежит всего в 45 или 50 верстах от Саратова, почтовые лошади по этому (Аткарскому) тракту были и тогда, и после очень хороши — из Аткарска 88 верст не особенно спеша, не давая на водку больше 3 коп. сер., то-есть гривны, — приезжали в 8 часов, даже меньше, из Мариинской колонии было всего 4 часа езды), — имел некоторую практику в городе. Тогда в городе не было ни одного замечательного медика — первым действительно хорошим медиком явился туда через несколько лет после той эпохи, — вероятно около 1842 года, — Николай Фомич Троицкий, кажется, из Московского университета, молодой человек, приехавший в саратовскую — страшную тогда — глушь с намерением не бросать науку и действительно не бросивший ее, а через несколько времени приготовившийся к докторской степени и получивший ее. Он умер очень скоро, и весь город был глубоко опечален его смертью, потому что он был и благородный человек, не только искусный медик. С той поры редко случалось, что Саратов не имел хорошего медика, — назову Кабалерова, который также умер в молодости,

потом приехал Стефани, — но до Троицкого не было медиков, которые [заслуживали] бы особенного предпочтения перед опытными фельдшерами. Мой тесть, в молодости бывший хорошим медиком, прожил эти свои хорошие годы в Камышине, и оттуда выписывали у него рецепты, лечились по корреспонденции через 180 верст, с почтою, ходившей раз в неделю! — значит медики города Саратова были хороши! Можно характеризовать их двумя анекдотами о двух. Одного я назову — это покойный Покасовский, бывший, между прочим, медиком при семинарии, когда я учился в семинарии. В больнице семинарии была «микстура», — какая, я не знаю, но одна микстура, — если горчичник и шпанская мушка не годились в дело, Покасовский говорил ученику семинарии, исправлявшему должность фельдшера: дать микстуру — и давали «микстуру» от всего, против чего не действует шпанская мушка, от чахотки до тифа, от всего одну и ту же микстуру. Конечно, средства больницы были неимоверно скудны; и натурально, единственная микстура была какая-нибудь очень дешевая; но ведь, конечно, есть не один десяток таких же дешевых, — поэтому ее единственность объясняется тем, что действительно достаточно было одной ее.

Другой анекдот о другом медике рассказан мне моим тестем, Сократом Евгеньичем Васильевым, в 1853 г., как приключение, увеселившее его своею оригинальностью незадолго перед тем. Тесть мой в это время уже давно отказался от практики. Однажды он заехал к своим знакомым, как знакомый, а [не] как медик. В разговоре дошло дело до того, что малютка сын или дочь хозяев немножко страдает кашлем; рассказывая об этом, мать вздумала прибавить: «А взгляните, пожалуйста, Сократ Евгеньич, на лекарство, одобрите ли вы его», — и возвратилась из детской с очень большою банкою. Тесть взглянул: в банке порошок, который дается по половине чайной ложечки раза три в день. — А в банке было фунта 4 этого порошка. — «Что это такое? Да это целый аптечный запас!» — «Мы и сами удивлялись, — отвечала мать излечаемого порошком; — думали, что в аптеке отпустили по ошибке, посылали справиться; нет, говорят, столько прописано в рецепте». — «Да чей же рецепт? Кто лечит ребенка?» — Хозяйка назвала фамилию врача. — Ну, понимаю, сказал тесть: медик, прописавший ребенку целый аптечный запас, ездит по больным с рецептурною книгою, — на память не знает ни одного рецепта. На этот раз ему случилось взять такую книгу, в которой написаны для аптекарей пропорции, в каких следует брать ингредиенты обыкновеннейших лекарств, которые по беспрестанному их требованию аптекарь разом готовит себе [в] запас на полгода, на год. Медик совершенно не знал, что количество, им прописываемое, книга заготавливает на сотню больных, а не на одного.

Конечно, такой медик есть уже феномен, поражающий всякое зрение, и надобно сказать, что он не имел практики. Но Покасовский ничего, имел порядочную практику.

Натурально, что при таких медиках не грех перед наукою было доверяться и фельдшерам, — и один из двух фельдшеров Мариинской колонии, часто ездивший в город, человек бойкий, приобрел себе в Саратове небольшую практику. Кто-то из знакомых привел его к нам. Он сказал, что операции не будет нужно, что он знает и наверное вылечит болезнь. Но взявшись за дело слишком самоуверенно, он имел добросовестность поступить как следует, когда увидел, что сам не сладит, и стал рекомендовать своего медика. Медик не хотел иметь практики в городе, он ограничивался своею больницею, жил очень скромно, так что в 15 или 20 лет службы образовалось у него из жалованья сбережение, тысяч до 10 ассигнациями (жалованье, по-тогдашнему, было хорошее), — и в это время он уже почти все жалованье прибавлял к сбережению, лежавшему в банке, ему почти доставало процентов с накопленного. Он был человек не жадный к деньгам, любивший спокойствие, очень скромный, — трудно было устроить, чтобы он взялся пользоваться матушкой, которая решила переехать для этого в Мариинскую колонию. Священник в колонии, Иван Андреевич Росницкий, был брат одному из близких с нами городских священников; поладились, сговорились, и батюшка поехал с матушкою и со мною в колонию, — батюшка только проводить, мы с матушкою остаться у Росницких. Исследовав болезнь, Иван Яковлевич тотчас же сказал, что необходима операция и что он завтра же ее сделает. Операция была сделана твердою рукою, — а рука была нужна твердая, потому что болезненные отложения, бывшие причиною опухоли, находились очень глубоко в теле, глубже, чем думал было Иван Яковлевич, и ему приходилось углублять нож по мере того, как он продолжал разрез, — пришлось бы плохо, если бы он не имел хладнокровия, — но нож дошел до надлежащей глубины, и матушка была избавлена от главной причины своих страданий. Операция удалась превосходно. Но разрез был очень глубок, рана по своей огромности была тяжела, дня через два матушка [находилась] совершенно в том положении, как тяжело раненные, и еще недели две надобно было пользоваться ее очень внимательно, при малейшей небрежности рана приняла бы дурной оборот. Иван Яковлевич пользовался внимательно. Сомнительны были первые четыре, пять дней, — после того уже не представлялось опасности. Но все же оставалась нужна постоянная внимательность, и Иван Яковлевич оставался внимателен.

— Слава богу, — слышал я через несколько дней, — вероятно, недели через полторы по нашем приезде и после операции, — сидя с Иваном Андреевичем в гостях у управляющего колонию, г. Хрущова: — слава богу, что Иван Яковлевич выдержал! — Обещался, и выдержал! А мы как боялись! — Это говорили и Иван Андреевич, и г. Хрущов, и его сестры. — Что такое? — думал я. — А должно быть, что он обещался вылечить маменьку и вылечивает. — Нет, не то. Еще через несколько дней, когда матушка уж порядоч-

но оправилась, Иван Андреевич объяснил ей и мне, слушавшему тут же, чего боялись и что обещал Иван Яковлевич.

Операция была сделана около рождества. Каждый год, около рождества, Иван Яковлевич пил запоем — месяц, неделю пять. Начнись эта болезнь с ним, когда уже сделана операция, матушка была [бы] в опасности умереть от раны. Но он понадеялся, что выдержит, и выдержал.

Понятно было это другим и мне тогда: добросовестный медик, хороший и добрый человек, он имел силу подавить свою болезненную потребность, когда от этого зависела жизнь его пациентки. Но еще понятнее мне стало это потом, когда я побольше узнал, что такое умственная жизнь, что такое жажда деятельности, что такое тоска не от неудачи в житейских расчетах, что такое радость человека, нашедшего интересную задачу для своей умственной деятельности.

Когда я рассказывал в Петербурге своим добрым знакомым, медикам, болезнь матушки и описывал форму болезненных отложений, образовавших опухоль, — они понимали меня, несмотря на необходимую сбивчивость слов человека, совершенно незнакомого с медициною, называли мне эту болезнь, поправили мои неточности, — и поправили верно, как я увидел, когда их же слова напомнили мне черты, которых я сам не припомнил бы. Значит, эти медики сказали мне правду, что этот вид болезни известен, — они даже и видели примеры ее, — два или три, — в громадной клинике здешней Академии и в громадных военных госпиталях Петербурга. Но ведь эти медики из числа передовых людей науки, — как можно сравнивать их ученые сведения с сведениями, какие сохраняются у человека, прожившего 20 лет в Марининской колонии? И притом, я говорил с ними через 15 лет после того, как была операция. В эти 15 лет медицина много ушла вперед, — быть может, около 1840 года и она не знала того, что было известно в 1855 году. — Иван Яковлевич следил за наукою: Иван Андреевич Росницкий говорил мне тогда, что он выписывает медицинские журналы. Но какие? — И будто легко держаться в уровень с развитием теоретических знаний, когда живешь на половине пути из города Саратова в город Аткарск! Я хочу сказать этими словами тем из медиков, живущих в ученых городах, чтобы они не рисковали выводить заключений о степени любви Ивана Яковлевича к науке из того обстоятельства, что он в 1840 году не знал вида болезни, который называли известным мои знакомые медики в Петербурге в 1855 году, — пусть не рискует выводить из этого, что у него было мало любви к науке, если не испытали, каково следить за наукою из глухого захолустья. — Итак, Иван Яковлевич не знал того вида болезненных отложений, которые нашел в опухоли у моей матушки. Я и тогда, хотя был 10-летний мальчик, не мог не заметить удовольствия, с которым он через несколько дней рассказывал моей матушке, что он не знал того вида болезни, которым она страдала, что это новость для него, что это замечатель-

ный случай, что он думает написать статью об этом новом виде болезненных отложений, который еще не был описан.

Понятно, что от этого разлетелась на время его меланхолия, и обошлось то рождество без запоя. И точно, Росницкие, наши хозяева, да и Хрущовы говорили, что Иван Яковлевич веселее обыкновенного. Они принимали это за радость человека, увидевшего, что может победить несчастную свою болезнь, которая отвратительна и унизительна в его собственных глазах, — за радость доброго человека, которому удалось избавить свою пациентку от тяжелых страданий, — за радость медика, которому приятно, что станут теперь говорить о нем, как хорошем хирурге, — и конечно, все это было; но кроме того была еще радость ученого, нашедшего то, что не было известно.

Я пишу эту часть своих воспоминаний, как будто не думая о внутренней связи между ними, все сплошь, как припоминается, — доскажу же и все остальное, что я помню об Иване Яковлевиче.

Его фамилия была то же самое имя, которое послужило для его отчества, — Яковлев, потому что он был из Воспитательного дома, человек без рода и племени. В 1840 г. было ему лет 45. Он был немножко выше среднего роста, человек еще крепкий здоровьем, но черты его лица уже приняли почти стариковский характер. В моих глазах вид старика особенно придавался ему медленною тихостью его походки, жестов, мягкостью голоса и прическою его волос. Какая была эта прическа, я решительно не умею представить себе теперь, — совершенно забыл, — помню только, что он носил волосы довольно длинные, что они не были подстрижены сзади, не были взбиты кверху на лбу, и причесаны на висках квадратами, направленными к углу глаза, — тогдашняя прическа всего благородного сословия в Саратове, — прическа а la poujik, возбуждавшая через несколько лет такое же строго-нравственное неодобрение наших солидных людей, как еще годами десяти позднее стали возбуждать такое же чувство таких же английских людей усы. И мягкость характера у него была до такой степени, какую чаще встречаем у добрых людей в старости, когда добрый человек уже совершенно понял ничтожность пустяков, из-за которых горячился прежде, и видит, что важно только одно: делать все возможное для пользы других, — в этом только и есть настоящее удовольствие. Не знаю, замечали ль вы, что эта черта развивается с годами в добрых людях? Если нет, всматривайтесь, — мое замечание выведено из опыта. Иван Яковлевич [был] кроток чрезвычайно, был так добр, что я не слышал ни одного слова, кроме похвал ему, ни от кого из говоривших о нем при мне. А ведь они были темные провинциалы, то-есть люди, которые прослыли в обществе вышних замашек страшными любителями злословия.

Но все в один голос хваля, в один голос жалели о нем. Он с давних пор жил с женщиною, которая была у него экономкою и кухаркою вместе. Конечно, его не только жалели бы, но и строго порицали бы, если бы это незаконное отношение было незаконным

по воле Ивана Яковлевича. Но его экономка была крепостная девушка какой-то госпожи какой-то далекой от нас, чуть ли не подмосковной губернии. Без позволения госпожи нельзя было повенчаться, — я сказал: «без позволения» — нет, по нашим нравам и общественному положению Ивана Яковлевича дело шло сначала вовсе не о «позволении» свадьбы со стороны госпожи. Иван Яковлевич уже дослужился до дворянства, — он был чуть ли не коллежский советник, — он и сам уж мог покупать крестьян и крестьянок, и чтобы дело имело совершенно обыкновенный вид, он просто писал госпоже своей экономки, не продаст ли она ему ее, — тогда он отпустил бы свою крестьянку на волю, потом и повенчались бы. Госпожа не соглашалась продать, — по всему ее образу действий видно, что она была честная женщина: она знала, в чем тут штука, и, по обыкновенному соображению, действительно справедливому в большей части подобных случаев, предполагала, что ее крепостная девушка, отошедшая от нее на оброк очень давно, оказалась пройдохой, шельмой, которая опутала человека и хочет совсем загубить его законным браком с собою. Чуть ли и сам Иван Яковлевич не участвовал в возбуждении такого мнения у госпожи: кажется, он начал переписку предложением не купить девушку, а выкупить ее на волю, и только уже получив отказ в этом, заговорил о покупке. А если он говорил о выкупе на волю, то уж из этого одного было бы ясно для госпожи, в каких он отношениях к ее девушке. Но содействовал ли получению отказа на свою просьбу сам Иван Яковлевич неловкостью первой формы просьбы, или он имел осторожность не делать непрактичного предложения о выкупе и начал прямо с покупки, за это не ручается моя память; а твердо знаю я то, что [если] он сам не выказал госпоже сомнительную сторону этого дела, то раскрыли ее перед госпожою его приятели. Разумеется, между отправлением письма о выкупе или покупке и первою мыслью об этом шло время, и вероятно не малое; разумеется, мысль не сохранялась в дипломатической таинственности, — если не беседовал о ней Иван Яковлевич с своим мариинским кружком, — а вероятно говорил: не говорить не в наших нравах, — то уж наверное рассказывала его экономка прислуге этого кружка, и прислуга кружку. Таким образом, госпоже послали предуведомление, что дело состоит вот в чем: ваша крепостная девушка опутала нашего (или моего) доброго знакомого, прекраснейшего человека, И. Я. Яковлева, имеющего большой чин, имеющего капитал в ломбарде, и хочет еще стать его женою, дворянкою, барынею; как благородную женщину, мы просим (или я прошу вас) не допустить этого. — Госпожа и не допустила. — Какие были побуждения тех или того или той, кто послал предостережение? Дурных, своекорыстных не было, — за это я ручаюсь по общему тону разговоров об этом, слышанных мною; а вернее того ручается дальнейший ход. Могли тут играть важную роль общественные понятия, которые пусть называет дурными предрассудками кто хочет, а я считаю основательными, — понятия, не одобряю-

щие неравных браков, склоняющие людей мешать им и без всякого личного расчета, по требованию принципа, по искреннему убеждению в своей обязанности: дворянин женится на дворовой девушке (т.-е. дворовой девке) — нехорошо, нехорошо («дворянин», это говорят дворяне; если же не дворяне, а только «благородные», то «благородный» женится, и проч.). — Вы считаете эти понятия основательными? вы, которого знают за человека радикального образа мыслей? — Считаю, и полагаю, что это не мешает мне иметь такой образ мыслей, какой я имею, — радикальный ли, другой ли какой, еще менее похвальный и полезный, — полагаю, что это даже прямо вытекает из него, что это составляет сущность его: положение и отрицание всегда равносильны; кто мало или слабо признает, тот мало или слабо отвергает; а чем больше, тем больше. Вообразим себе, что мы с вами перенесены на остров Яву к народу, называемому баттами; теперь, эти батты не дикари, — как можно! — у них есть азбука, — они пишут друг другу письма, они пишут стихи, у них есть литература, не слишком богатая, но и не ничтожная. Но кроме любви к чтению и сочинению литературных произведений, у них есть любовь к кушанию человеческого мяса. Это делается хорошо, прилично. Общество собирается на обед чинно, благопорядочно, как европейцы на свои обеды; к мясу, по европейской кухне, требуется соус, по баттской — тоже; каждому сорту мяса особенно идет свой особый соус, — к телятине — один, к баранине — другой — это по европейской кухне — и по баттской тоже. В том соусе, который лучше всего идет к человечине, главная вещь лимонный сок, если не ошибаюсь. В настоящее время баттское образованное общество делится на две партии. Одна находит многие обычаи, многие понятия своей страны не совершенно основательными. Люди другой партии говорят, что неосновательно делить жизнь на две половины и объявлять: эта половина основательна, а эта неосновательна; они утверждают, что все явления их общественной жизни связаны, срослись, — мало сказать, срослись, выросли из общих корней, и не следует легкомысленно рассуждать об этом, — что каждое понятие вышло из общего понятия жизни; что каждый обычай основан на общем характере жизни. Представьте же себе, что мне и вам предложено решить спор этих двух партий по вопросу об обычае кушать человечину. Одна партия говорит: это можно выбросить из баттской жизни, как вещь негодную для нее. Другая возражает: извините, этот обычай основан на существенном характере баттской жизни. Что вы скажете, ведь баттские консерваторы правы, людоедство основательно в баттской жизни. Что из этого следует, другое дело. Из этого, по-вашему, следует, что вся баттская жизнь должна пересоздаться, — вся цивилизация измениться, — вероятно, так. Будет ли это? Вероятно. Но баттские легкомысленники ничего этого не знают, они не предвидят, что будут казаться своим детям полуварварами, своим внукам — дикарями, своим правнукам — людьми более похожими на орангутанов, чем на людей, — они не понимают этого, потому что

606

они варвары, хоть у них (или хоть у французов, немцев, у нас, все равно, — это, по-моему, разница только в степени, а не в сущности) есть наука, литература, общественная жизнь и все такое; если б они и понимали это, они не надеялись бы этого, потому что они еще остаются баттами в душе и потому не чувствуют, что человек может быть не баттом. А мы знаем все это, потому и рассуждаем о баттских обычаях не по фантазиям баттских легкомысленников, дробящих свою жизнь по своим малодушным фантазиям на основательную и неосновательную, а говорим: нет, у вас все основательно, только ваши основания плохи; а пока они остаются, нельзя баттской нации не рассуждать и не делать так, как она рассуждает и делает.

Мешая Ивану Яковлевичу, человеку большого чина, дворянину, выкупить или купить крепостную девушку, кружок действовал, конечно, под влиянием основательной враждебности к неравным бракам; но по содержанию частых разговоров, слышанных мною, несомненно, что гораздо больше сословного чувства (дворянского в одних, вообще «благородного» в других) тут действовало искреннее доброжелательство к Ивану Яковлевичу. О нем говорили с действительным расположением, о нем жалели с искренним участием. Я теперь не могу отчетливо представить себе характер господ Хрущовых, тогда уже почти старух, сестер управляющего колониею⁹, — тогда они казались мне добрыми женщинами, и, вероятно, это правда. По крайней мере, дети чиновников колонии, — и я вместе с ними, — играли и хохотали в гостях у гг. Хрущовых совершенно привольно, — а управляющий и его сестры были лица слишком важные в мариинском мире, и если бы госпожи Хрущовы были горды, или суровы, или хитры, или что-нибудь такое, детям подчиненных их брата не было бы такой веселой воли у них. Однажды как-то было особенно много гостей, так что нас, детей, посадили обедать в другой комнате, — за столом в зале не достало места; 10, 12-летние мальчики, мы стали дурачиться, выпили по три-четыре рюмки и расшумелись из рук вон; никому из нас не было после никаких выговоров, — значит, хозяйки сказали матерям: это хорошо, что дети веселятся. Однажды вечером, когда мы играли одни, без старших, я столкнулся с другим мальчиком, — он остался невредим, но у меня вскочила большая шишка на лбу, — и это прошло без истории, только велели мне держать медную гривну на шишке, — это лучшее лекарство, как известно. Значит, г-жи Хрущовы были хорошие женщины. А фигура г. Хрущова, управляющего, осталась у меня в памяти очень ясным типом честного, прямодушного, открытого воина наших наполеоновских войн. Он был говорун, рассказывал множество всяких случаев из походной и непоходной [жизни], так что мне весело было слушать его. В моем воспоминании нет никакого повода к предположению, чтобы предупреждение госпоже экономки Ивана Яковлевича было послано кем-нибудь из семейства управляющего, — г. Хрущовым или его сестрами, или чтобы хотя мысль об этом вышла от них; но они

знали об этом. Г-жи Хрущовы по всей вероятности, г. Хрущов без всякого сомнения были хорошие люди. Все семейство очень уважало и любило Ивана Яковлевича. Если бы письмо к помещице было нехорошим делом или вредным для Ивана Яковлевича, оно и не было бы сделано,—управляющий наверное сказал бы: «нехорошо»; а против управляющего никто не пошел бы. Итак, знакомые Ивана Яковлевича просили помещицу не принимать его предложения,—просили потому, что любили его, желали ему добра. Помещица исполнила их просьбу, без всякого сомнения, только потому, что была хорошая, благородная женщина. Это доказывается уж самым отказом ее Ивану Яковлевичу. Ведь ясно было, что она могла бы взять с Ивана Яковлевича очень хорошую цену,—по крайней мере впятеро больше, чем стоит крепостная девка (тогда цена хорошей крепостной девки была 100 рублей ассигнациями,—25-рублевая бумажка ходила за 6 рублей, за 6 рублей 20 копеек,—по этому курсу выходит, что цена хорошей, молодой, здоровой крепостной девке была в конце 30-х годов около 23 руб. сер.). Помещица жертвовала денежною выгодою чувству благородства, велешему ей не допускать несчастья хорошего человека. Этого мало,—она показала свой характер делом, которое можно уже назвать не совсем обыкновенною вещью: она даже не захотела воспользоваться сведениями о драгоценности своей крепостной девки для Ивана Яковлевича, чтобы возвысить оброк. Эта уже черта действительного благородства.

Что ж за человек была эта крепостная девка, от женитьбы на которой был спасен соединением искренней любви к нему в его знакомых с довольно редким благородством помещицы [Иван Яковлевич]? Не была ли она, точно, дурная женщина,—или, что было бы гораздо эффе́ктнее для рассказа, существо более или менее прекрасное и идеальное? Я ее видел несколько раз. Она была уже немолода, некрасива,—не урод, а просто невзрачная, маленького роста женщина средних лет и такой степени некрасивости лица, какая найдется разве в 10 лицах из 100 лиц наших простолюдинок средних лет. Она одевалась очень не щегольски, как вероятно одевалась [бы] и тогда, если бы была просто кухаркою, а не хозяйкою у Ивана Яковлевича. Слыша очень много разговоров, исполненных негодования на нее за ее отношения к Ивану Яковлевичу, я не слышал ничего дурного о ней. Не говорили, чтобы обижала Ивана Яковлевича,—а ей было бы очень легко обижать такого кроткого человека,—не слышал даже, чтобы она сколько-нибудь самовластвовала над ним,—значит, она была женщина доброй души, хорошего характера; когда я стал постарше, то мог сообразить, что в негодующих разговорах о ней все-таки проглядывало, что она заботлива к Ивану Яковлевичу, привязана к нему; я не слышал, чтобы предполагали у ней особенные богатства,—а если б у ней в долгие годы жизни с Иваном Яковлевичем и накопилось хотя рублей сот пять ассигнациями (рублей хоть сотня с небольшим на серебро),—это уж никак не было бы

тайною и считалось бы богатством (по ее званию крепостной девки), и это уж непременно выставлялось бы обиранием, обворовыванием Ивана Яковлевича; а утаивать деньги у такого доброго и простого человека было бы слишком легко, да и не понадобилось бы утаивать — очень легко было бы выпрашивать. Значит, она была женщина очень не своекорыстная.

Я даже не вижу оснований утверждать, чтоб она имела честолюбивый замысел повенчаться с Иваном Яковлевичем. Из этого не следует, что я хочу назвать напрасным опасение его знакомых, — нет сомнения, что они не ошибались, предполагая неминуемым последствием ее покупки или выкупа им — женитьбу его на ней. Такой простяк и добряк не мог не кончить тем, чтобы жениться на женщине, с которою жил. Но ни из чего не видно, чтоб у него или даже хоть у ней, для которой эта мысль ближе, чем для него, было уже ясное представление о свадьбе, когда он хотел купить или выкупить ее. Человеческие мысли идут постепенно: освобождение женщины, с которой живешь, обеспечение себя и ее от разлуки по чужой воле — эта мысль достаточно натуральная, чтобы считать возможным ее существование в голове человека без всяких других подпорок и расчетов, и достаточно важная, чтобы соображения останавливались на ней, не хватая дальше ее, пока она не исполнена. А я не слышал ничего, показывавшего что-нибудь больше этой мысли в Иване Яковлевиче или в его экомке. Впрочем, я только говорю, что не было никаких признаков, чтобы в нем или в ней уже была отчетливая мысль о свадьбе, — а я уже сказал, что ею непременно кончилось бы дело, если б не помешали ему, — и нет ничего невероятного, — напротив, очень правдоподобно, что он и в особенности она уже очень отчетливо и твердо думали об этой развязке, когда такая развязка оказалась невозможною. — Но если принять это слишком правдоподобное предположение, что она уже готовилась к свадьбе, то уже решительно оказывается, что она была женщина добрая и хорошая; я не слышал, чтобы ее называли озлобившеюся на расстройство приписываемого ей замысла, — а называли бы, если бы она особенно приняла это к сердцу, — а не браниться, не выходить из себя от подобной неудачи могла только женщина очень добрая.

И вот уже давно Иван Яковлевич и она сожительствовали под запрещением свадьбы, и хотя их связь оставалась незаконною, — вернее сказать: преступною, постыдною для него, позорною для нее, — но не они сами были причиною того, что отношение их оставалось в такой предосудительной незаконности, — оно оставалось таким по препятствию, конечно, спасительному для Ивана Яковлевича, положенному другими; и хотя эти другие положили препятствие с чистой совестью, но та же самая совесть и воспрещала им строго порицать Ивана Яковлевича за незаконность, которую наложили на него они же сами. А весь кружок предварительными разговорами и последующими одобрениями принимал участие в наложении и сохранении запрещения, потому никто из

кружка и не порицал, а только все жалели Ивана Яковлевича, как я уже и сказал.

Жалели, — но сожаление было давнишнего начала, стало быть, уже успокоившееся, притерпевшееся, привыкшее к прискорбному факту, примирившееся с ним, дремлющее, говорливое, но бездейственное. Иван Яковлевич и его экономка жили, уже не тревожимые никем, никак. Так и шло время уже сыздавна, до операции, которою Иван Яковлевич спас мою матушку.

Операция эта всколыхнула, оживила жизнь самого Ивана Яковлевича, — так оживила, что даже пропустилось время болезненного ежегодного приступа его меланхолии. Несколько недель он мечтал, — о работе для науки, наверное, — об известности, может быть. Конечно, умный, очень немолодой, давно остывший до дремоты человек не будет долго обольщаться натолкнувшимися на него мечтами. — Мариинская колония — в 40 или 45 верстах на север Аткарск, в 45 или 50 верстах на юг — Саратов, на запад и на восток — чистое поле, бесконечные расстояния, — при такой определённости местоположения скоро очнешься, то-есть задремлешь. Внутренняя жизнь Ивана Яковлевича вошла в прежнюю колею.

Но внешняя его деятельность не воротилась в нее, и мысли других о нем, выведенные из прежних сонных отношений бездейственного сожаления, уже не могли успокоиться.

Наше семейство не принадлежало даже и к среднему кругу губернского почета и блеска, — куда же, помилуйте! — но все-таки, ведь многие из далеко высшего нас среднего провинциального круга знали нас, а должностным образом батюшка мой имел отношения и к самой высшей знати, — в Сергиевском приходе жило несколько помещиков из числа важнейших между жившими в Саратове, а не в Петербурге, жил сам губернатор, кроме того, батюшка был благочинный, а при свадьбах очень часто случается надобность в каких-нибудь объяснениях с благочинным: или у жениха недостает какого-нибудь документа, или надобно хлопотать о том, вышли ли лета невесте (т.-е. исполнилось ли 16 лет). Поэтому не совсем же не знал город, — то-есть «благородный» город, — что моя матушка — больная женщина, сильно страдающая, что ничем не могут пособить ей саратовские медики, — а когда произошла операция, то и вовсе заговорили довольно много, что вот, жена благочинного была так больна, и что вот каким хирургом оказался медик Мариинской колонии. Говор был не очень громкий, потому что мы не были важные люди, но все-таки был. А наше семейство, конечно, стало чуть ли не молиться на Ивана Яковлевича, веровать в него, и особенно матушка настоятельно требовала, чтобы больные знакомые, не находившие помощи от других медиков, обращались к нему — он спасет. По ее убеждению, знакомая ей советница убедил мужа отправить в Мариинскую колонию сына, 10-летнего ребенка, у которого от ушиба во время игры стали гнить кости ноги, ниже колена, и гнили, и вываливались кусочками, с нестерпимыми постоянными страданиями, — это лечение, вероятно, было действи-

тельно трудное, вероятно, действительно требовало большого искусства от медика, — гниение костей уже очень давнее, очень развившееся, — Иван Яковлевич быстро сладил с ним, и нога ребенка совершенно исцелилась, выгнившие части костей стали зарастать хрящом, и ясно было, что не останется никаких следов несчастья в ребенке. Стали являться пациенты к Ивану Яковлевичу в Мариинскую колонию, — еще немногие, — но все-таки уже стало так, что не переводились эти саратовские гости в Мариинской колонии, — бывало в одно время уже и по-двое, может быть и по-трое. Конечно, исключительно только уже очень тяжело больные, отчаявшиеся получить облегчение от городских медиков. Об Иване Яковлевиче еще не кричал Саратов, но уже знал его, и с каждым месяцем хоть медленно, но постоянно росла его известность.

Саратов, конечно, не соображал, что жизнь Ивана Яковлевича должна измениться от этого, да еще и очень мало думал о нем. Ивану Яковлевичу было спокойно и привычно в Мариинской колонии, денег ему не было нужно, — до такой степени, что он не соглашался брать их от своих больных, — он ни за что не захотел бы переселиться в Саратов. Что ж особенное может произойти с ним оттого, что некоторые из тяжело больных стали уезжать лечиться к нему? —хлопоты над ними, но приятные для него, служащие благородным развлечением; несколько семейств в Саратове очень привязались к нему, все зовут его к себе в гости, — поэтому он стал — очень изредка — приезжать в Саратов; все, к кому приезжает, принимают его с почтением и признательностью, — тоже развлечение, и тоже приятное. Больше ничего не могли сообразить саратовцы, начавшие знать его.

Но если ни для Саратова, ни для самого Ивана Яковлевича не было еще тут ничего чрезвычайного, то для Мариинской колонии перемена не могла пройти так легко. Там давно привыкли было видеть Ивана Яковлевича распределяющим свое время известным образом, — положим, проходящим из больницы прямо в свою квартиру; теперь он шел из больницы к больному и возвращался домой не в 11, а в 12 часов. Привыкли было смотреть на него известным образом и не знать о нем ничего нового; теперь он доставлял много новостей: через него являлись новые лица — больные и сопровождающие их здоровые; они разговаривали об Иване Яковлевиче, им надобно было рассказывать, объяснять его жизнь, привычки; и на него, вносителя новостей, нельзя было смотреть по-прежнему. Кто он был прежде? — «Наш добрый Иван Яковлевич, который хорошо лечит нас», — а теперь «наш Иван Яковлевич знаменитый доктор; как же? — приобрел славу». Стало быть, пришлось в десять раз больше прежнего говорить об Иване Яковлевиче, гордиться им, хвастаться им, перетолковывать о нем, передумывать о нем, — словом сказать, возобновился и возродился «вопрос об Иване Яковлевиче», давно было сданный в архив.

Общественная мысль мариинская, при некоторой помощи малой частицы общественной мысли саратовской, начала работать над

этим вопросом, — под дружными усилиями разрабатывавших его он стал скоро проясняться, — и было решено единогласно, что возможно одно решение и что оно необходимо: Ивану Яковлевичу надобно жениться.

С точки зрения абстрактного разума, отвлекшегося от опоры в условиях местности и эпохи, нельзя увидеть никаких оснований для необходимости такого решения. В абстрактной аргументации этот вывод был даже несообразен с некоторыми важными данными. Иван Яковлевич был человек уж немолодых лет, — полагаю, около 45, может быть и под 50, — а вид и манеры у него были еще более пожилые, совершенно стариковские; он был столько же похож на людей, вид которых в абстрактном разуме может сочетаться с понятием «жених», сколько овца походит на сокола или сколько курица на арабского скакуна. Отвлеченный разум, находя совершенно субъективную непригодность Ивана Яковлевича к такому результату, нашел бы объективную невозможность для него: понятие жениха предполагает понятие невесты, а в мыслях кружка, решившего женить Ивана Яковлевича, не было ни тени представления о какой-нибудь невесте для него.

Да, это последнее обстоятельство самое странное во всем деле. В провинциях ли мало девиц и вдов? И когда бывает, чтобы люди, хлопочущие женить человека, не заботились собственно о том, чтобы пристроить какую-нибудь родную ли, знакомую ли, девицу или вдову? — Это очень редко бывает, но тут было именно так; и хоть в Саратове были сотни невест, но мариинское и сочувствующий его заботам очень маленький кусочек саратовского общества решительно не имели не только в своем составе, но и до крайних пределов своего свадебного горизонта никакой ни родственницы, ни знакомой в кандидатки для сватанья за Ивана Яковлевича.

Но это ничего, невеста найдется, — справедливо рассуждали друзья Ивана Яковлевича: невесте как не найтись! — Мало ли невест в городе? Сила не в этом, а в том, что не уломаешь искать невесту, пока он живет с этой девкой. Эта недостойная связь так его опутала, что где же ему думать о женитьбе? Надобно избавить его от этой девки.

И что же вы думаете? — Опять было послано письмо к помещице. — «Связь с вашей девкой спутала человека, мешает ему составить приличную партию, между тем как теперь его уважает весь город, и он мог бы выбрать себе прекрасную партию. Обращаемся (или обращаясь) к вам, как благородной женщине: спасите нашего доброго, прекрасного, благородного Ивана Яковлевича из рук этой твари». — Я не помню, кто написал это письмо и прежне письмо, одна ли рука писала оба письма, или две разных руки, — я слышал это, но забыл, — не погрешил перед историческою точностью тем, что забыл: не стоило помнить, как не стоило помнить того, кто из саратовских маляров красил наш деревянный забор, — оба эти дела были такие, что многие другие люди совершенно так же могли исполнить их. Все находили хорошим, что наш забор выкра-

шен, все находили, что он выкрашен как следует, — одобряли, — но никто не видел ровно ничего особенного в том, что забор выкрашен, и не считал замечательным художником того маляра, который имел способность исполнить это дело, — дело честное и хорошее.

Серьезно, успели ли вы стать на ту точку зрения, что отправление этих писем было делом вовсе не дурным, — нет, хорошим, благородным; что это делалось с чистою совестью, по чистым побуждениям, из искреннего расположения к Ивану Яковлевичу, с твердою уверенностью оказать ему важную услугу, принести большую пользу? — Если вы не в состоянии понять этого, то знаете ли, как вы должны смотреть на эти мои записки? — для других и для меня самого это произведение не важное; а для вас оно должно иметь такую цену, какую имел в свое время для всех трактат Коперника: для вас, значит, я открываю тайны мироздания, показываю вам, что жизнь движется вовсе не так, как вы полагали, а совершенно другим манером. О, если бы масса вредного и дурного делалась дурными людьми с целью вредить, — о, как было бы тогда хорошо на свете, потому что как мала была бы эта масса! Всю бы ее можно одному, каждому из нас захватить в горсть и забросить в сор, чтобы не оставалось ее ни на чьем жизненном пути.

Но, будучи хорошим, чистым делом, отправление письма с этою просьбою не было таким делом, которое уже само по себе давало право на имя замечательного, благородного человека тому или той, кто сделал его. Услуга другу, не требующая пожертвования со стороны делающего ее, — это еще не бог знает какой высокий подвиг. Очень может [быть], что человек, сделавший это, был очень хороший человек, но очень может быть, что он был и просто обыкновенный недурной человек, каких во всякой сотне бывает 70 или 80 человек. Но помещица как прежде показала себя действительно благородной женщиною, которая для пользы другого, даже вовсе незнакомого ей, готова забыть свой денежный расчет, так и теперь. Она вызвала к себе экономку Ивана Яковлевича, объявив, что не хочет дольше позволять ей ходить по оброку. Она для спасения человека от дурной, вредной ему женщины жертвовала доходом, который получала от этой женщины. Прежде помещица являлась нам человеком, который не хочет пользоваться особенностью и благоприятностью случая для получения особенных выгод; это черта не совсем дюжинная; теперь она отказывалась от обыкновенной, уже получавшейся выгоды, чтобы сделать пользу человеку совершенно чуждому ей, — это уж очень и очень недюжинная черта. Вызываемая девушка не была нужна ей; она теряла оброк и должна была кормить бесполезную ей женщину.

Я не знаю, как пошла жизнь этой вызванной девушки, много ли она убивалась — вероятно; но, разумеется, о ней не было никаких слухов. А Иван Яковлевич был совершенно расстроен, — тосковал, тосковал, и однажды слуга, подавший ему бриться, уви-

дел его лежащего облитого кровью, с перерезанным горлом, когда вошел через полчаса; слуга закричал, — побежали за фельдшерами, фельдшера нашли Ивана Яковлевича еще дышащим, перевязали рану, — рана оказалась не смертельна, — через несколько времени [он] уже сам помогал своим помощникам залечивать ее. Скоро он выздоровел, опять занялся больницею, больными; говорил, что очень доволен, что не удалась его попытка зарезаться, что ему самому смешна она, — бывал, попрежнему, в гостях, — приезжал в Саратов, — был у нас, — наши не заметили в нем ничего, показывающего отчаяние, — но через два, три месяца после этого свиданья мы услышали, что он опять перерезал себе горло бритвою, и на этот раз уже смертельно.

Это история, дошедшая до чрезвычайной развязки, которая придавала ей необыкновенность. Но бесчисленное множество обыкновенных историй страдания, происходивших около нас, производило впечатление того же смысла. Не злые люди, а добрые, хорошие бывали причиною большей части тех бед, свидетелем или слушателем которых я был в детстве. И, конечно, это очень сильно подготовило меня к тому понятию о страданиях людей, которое с полнейшею точностью олицетворилось для меня следующим происшествием.

В 1851 году, в самом конце зимы, я отправлялся в Саратов; нашлись попутчики, — двое приятелей, из которых у одного была порядочная зимняя повозка. Отлично. Мы поехали. В дороге я подружился с моими попутчиками, — одного я и прежде несколько знал, как отличного человека, другой оказался добряком, простодушие которого неимоверно. Вот, и ехали мы очень довольные друг другом, занимаясь всяческими рассказами и шутками. Я сидел, — то-есть лежал в отличном спокойном повозочном положении, с правого краю, двое приятелей занимали точно такие же положения, один посредине, другой на левом краю повозки. Выпадал маленький сырой снежок. Мы застегнули фартук повозки и ехали себе, весело болтая. Вдруг, — хлоп! — повозка на бок, на левую сторону; лошади — смирные, хорошие, на том же шагу остановились, — я увидел себя составляющим верхний слой трехъярусного общества и очень удобно вылез в широкую щель между фартуком и верхним боком повозки. Но мои спутники расположились не так удачно: «Дмитрий Иванович! Григорий (или Николай, не помню теперь) Александрович! вылезайте же! Что же вы?» — кричал я со смехом. — «Не могу вылезать. Режьте фартук!» — отвечал глухим голосом, один из двух друзей моих спутников; другой вовсе не подавал голоса. Фартук поочередно натягивался двумя поперечными полосами, далеко не доходившими до верхнего края. Я, слуга одного из моих спутников, ямщик хватились по карманам — ни у кого нет ножа. Принялись отстегивать фартук — застежка длинная, крепкая, кольцо тоже крепкое, фартук тяжело натянут наискось, — вся тяжесть, давящая на него, притянула кольцо в глубину застежки, не можем отстегнуть! — мы рвать фартук, — но

куда же? — такая здоровенная кожа, попытка рвать была чисто только уже выражением нашего отчаяния отстегнуть, — опять принялись отстегивать, — «скорее, скорее, удар будет! задушу!» — изредка с усилием произносил один из зафартучных моих спутников, задыхаясь на каждом слоге. Другой так и вовсе не подавал голоса. Долго мы бились — наконец, кто-то из нас, — кажется слуга, — изловчился, — кольцо шмыгнуло по застёжке, фартук отлетел, — мои спутники благополучно вывалились на снег, живы, здоровы и целы, — что они здоровы и целы, этого и нельзя было ожидать иначе: ушибиться не было возможности, — но продлился история еще две минуты, один наверное оказался бы задушен. В минуту падения повозки среднему случилось встряхнуться таким манером, что он повалился головою к низу, — ноги его были прижаты фартуком, а плечами он навалился прямо на лицо нижнему, — нижний всюю своею тяжестью давил на фартук, на него самого всюю тяжестью давил верхний, — воротник шубы нижнего закутывал ему лицо, — в том числе и рот, и нос, — этот душильник был отлично придавлен корпусом товарища, — руками не мог пошевелить ни тот, ни другой, они были между фартуком и боками своих владельцев, только ноги верхнего двигались по фартуку, изменяя направление его натянутости и заставляя кольцо вырываться из руки отстегивающего.

Вот вам в живой картине экстракт отношений, от которых происходит более 99⁰/₁₀₀ человеческого страдания: отличный человек без всякого дурного умысла навалился на другого, которому нимало не желает вреда, и сам едва не задыхается от отношения, которое душит того.

Либерал говорит: «Да, дороги плохи; ухабы, раскаты; натурально, что при таких дорогах сани и повозки опрокидываются. Гнусные дороги, надо сравнивать ухабы и раска[ты]». — «Рассудите, пожалуйста, возможно ли это? — отвечает консерватор: — достанет ли человеческих сил выровнять сотни тысяч верст наших зимних дорог? не достанет; и ведь через неделю после выровнения, с первым новым снегом, с первою новою оттепелью или вьюгою опять были бы точно такие же ухабы и раскаты. Закон природы, сущность вещей, непреодолимые вечные силы природы, — хорошо или дурно, но неодолимо, неотвратимо, неисправимо. Бороться против непреодолимого — значит только напрасно изнуряться и делать новые, лишние беды себе и другим; вооружаться против законов природы — значит только показывать дешевое умничанье, которое свидетельствует лишь о легкомыслии и поверхностности занимающегося им».

Правду говорит либерал, что зимние дороги имеют очень плохую свою сторону в ухабах и раскатах; правду говорит консерватор, что с этою плохую стороною их трудно справиться, — неизвестно, мог ли [бы] одолеть ее весь народ, опрокидывающийся на зимних дорогах, подобно нам, — а уже совершенно бесспорная вещь, что мы втроем никак не могли выровнять нашу дорогу, —

но... но дело в том, что дело **было** вовсе не в том. Отводы у нашей повозки были, как видно, недостаточно широки, — от этого она повалилась, и если бы кто-нибудь из нас троих догадался посмотреть на отводы, да догадаться, что они не достаточно широки, — за 5 коп. в две минуты подвязали бы к ним куски старых оглобелей, и повозка не могла бы опрокинуться, и не пришлось бы одному прекрасному человеку, задыхаясь самому, душить другого. Что тут рассуждать о законах природы, — просто мы не догадались, только.

Я объяснил, отчего, по моему рассуждению, сильно подготовленному впечатлениями, происходят беды и страдания людей; но еще не объяснил, отчего по рассуждению саратовцев моего времени происходит запой. Это объяснение тоже немудреное: «под сердцем» у человека заводится «особенная глиста, вроде, как бы сказать, змеи», и «сосет» ему «сердце», — но когда он пьет, часть вина попадает в рот змеи; нужно очень долго обливаться ее вином, чтобы она опьянела, — наконец, она опьянеет, — и надолго, очень надолго; тогда, разумеется, страдание проходит, — ведь она лежит пьяная, не сосет сердца, и надобность в вине минется для человека до той поры, когда хмель змеи, — через несколько месяцев, — проходит: тогда опять надобно пить. Замечательным подтверждением этому приводилась догадливость одного страдавшего запоем купца: он рассудил, что чем крепче напиток, тем скорее усыпит змею, — и попробовал, когда пришло время запоя, начать стаканом самого крепкого рома: змея опьянела с одного стакана, — а сам он еще остался трезв, потому что был здоровый, — и надобность пить исчезла. Но, опьянев так быстро, змея и опьянела не так надолго, как от долгого обливания водкою; через неделю опять начала сосать сердце. Он опять выпил стакан рома, и опять успокоился. Таким образом, благодаря своему уму, он отделялся от запоя несколькими стаканами рома в год. Саратовцы буквально поняли два выражения: о тоске, «змея сосет сердце», — и о рюмке водки перед закускою: «заморить червяка», — свели оба выражения в одно, получили полное объяснение причины запоя и удовлетворились.

Итак, если бы Матвей Иванович пил запоем, это было бы горе, но не грех и не стыд; но он не пил запоем, а просто пьянствовал. Напрасно плакалась жена, напрасно усовещевала прабабушка (моя, — как именно была родственница ему, не умею сказать в точности; вероятно, двоюродная тетка, — он звал ее тетушкой, мою бабушку сестрицею). Но неизвестно почему, он исправился, — и уже совершенно перестал пить, стал человек примерно строгой жизни. Но если Александре [Павловне] стало легче в нравственном отношении, то в материальном не произошло большого облегчения нужды: Матвей Иванович все свое небольшое жалование продолжал попрежнему обращать на покупку вина, — купит, и приводит к себе пьяниц, самых обнищавших и беспутных, и угощает их, — а сам ведь уж ничего не пьет.

Александра Павловна бедствовала попрежнему, прабабушка, — тогда Матвей Иванович был на квартире у нее, — бранила, изумляясь такой странной манере тратить деньги. «Приятно, что ли, тебе с ними? — говорила она, — ведь на них смотреть гадко». — «Гадко, тетушка», — отвечал Матвей Иванович. — «Так что же ты на них убиваешь все деньги?» — «Тетушка, — отвечал Матвей Иванович, — кабы вы знали, какое мучение пьянствующему человеку, когда у него нечего выпить, вы не удивлялись [бы] и не осуждали. Это такое мучение, тетушка, которого и представить себе нельзя, — я испытал его, знаю, потому и не могу удержать своей жалости: очень они мучатся». — Этот период жизни Матвея Ивановича кончился еще до моей памяти, и я знаю его только по рассказам; бабушка, которая была очень строга к пьяницам, передавала, однако же, ответ Матвея Ивановича печальным тоном такого серьезного убеждения в его справедливости, что и у меня, ребенка, щемило сердце: верно, в самом деле, большое мучение испытывают бедные пьяницы, когда бабушка произносит ответ Матвея Ивановича таким голосом и не повторяет в конце замечания, которое делала в начале, что Матвей Иванович поступал безрассудно, тратя на вино пьяницам деньги, когда жене было почти что нечего есть, — верно, и сама бабушка разжалобилась.

Но по мере того, как время сглаживало живость воспоминания о собственном мучении в период пьянствования при недостатке вина, ослабевала и расточительность Матвея Ивановича на покупку вина пьяницам. На моей памяти Матвей Иванович уже не имел заметного обычая угощать их, — я знал только, что иногда он приводит к себе пьянчужку, которого увидит на улице в особенно несчастном состоянии, даст ему выпить рюмку, две, долго увещевает его и отпускает. Но это случалось изредка, так что самому мне не привелось ни разу быть свидетелем такого случая.

Конечно, когда Матвей Иванович перестал расточать все деньги на пьяниц, Александра Павловна должна была терпеть менее нужды, чем прежде. Но это лишь умозаключение, — и справедливое, — а не то, чтобы наблюдение: Александра Павловна продолжала жить так скудно, что, глядя на ее жизнь, я не мог бы предположить, что прежде она жила еще скуднее, — я только не мог сомневаться в очевидной справедливости рассуждений бабушки и других старших, что прежде Александре Павловне было еще хуже.

Ко всему, что я говорил о Матвее Ивановиче, привязывалась заметка о печальном влиянии его действий на судьбу Александры Павловны; этим я только сохраняю своему рассказу колорит, какой имели впечатления, полученные моим детством от особенностей Матвея Ивановича: я не слышал ни одного серьезного разговора о нем между своими старшими и родными, веденного иначе, как с той точки зрения, каково отзываются его особенности на судьбе его жены.

Не она, а он был родня нам. Она была женщина и не нашего круга. Мы не были ни от кого зависимы, но и никто из моих старших не был в близких прикосновениях с богатыми или знатными. Александра Павловна была воспитанницею какой-то графини, не только знатной, но и очень богатой; ни фамилии этой графини, ни каких подробностей о ней я [не] знаю и, кажется, никогда не слыхивал. Очень вероятно, что жизнь Александры Павловны в доме графини была обыкновенная незавидная жизнь воспитанниц богатых помещиц, — иначе, как же бы выдала ее графиня за ничтожного, вероятно, тогда еще и бесчиновного и просто канцелярского чиновника? Но все-таки, как бы ни стеснительна была жизнь воспитанницы, это была жизнь в богатом барском доме, в котором вообще обстановка была не та, какая привычна была моим старшим и их родне. После я увидел, что из дома графини Александра Павловна вынесла две привязанности, из которых одну просто хвалила моя бабушка, а другую считала несколько неприличной. Эту порицаемую бабушкою привязанность Александры Павловны составляли комнатные собачки. У Александры Павловны постоянно была семья их — мать с детьми; иногда и щенки достигали преклонных лет, но большую часть времени взрослое поколение состояло из немногих особ, — двух или даже только одной, окруженной молодежью; Александра Павловна вероятно дарила своим знакомым подраставших и выученных воспитанников, потому что кормить их составляло бы уже стеснительный расход; но каким бы способом она ни расставалась с ними, разлука с каждым наверное была для нее не совсем легка, потому что они действительно были ее воспитанники и воспитанницы: она ухаживала за своими собаками с нежною, неусыпною заботливостью и сама учила всему, что нужно в их звании; она даже была уверена, — и я не поручусь, что она обольщалась мечтою, — что ее собачки умеют кланяться гостям по ее приказанию, — мои старшие не могли заметить, чтобы они действительно кланялись, когда Александра Павловна с добродушною радостью указывала на то, что они кланяются, — поэтому и я не замечал, чтобы действительно были поклоны, — мои старшие потом между собою посмеивались иногда над этою мечтою, — посмеивался и я вслед за ними; но — почему же знать, быть может, мы не видели только потому, что были расположены не видеть? — По мнению Александры Павловны поклоны ее собачек гостям состояли в тех самых поклонах, какими мы приветствуем друг друга, — в легком наклонении головы, — свободном, без всякого раболепства, только с учтивостью, а не в каких-нибудь собачьих штуках, которым учат дрессировальщики, учащие собаку быть подлым шутком. Нет, Александра Павловна любила своих комнатных собачек не так, как любят причудницы, которым комнатная собачка служит куклою, потешницею капризов или предметом глупой сентиментальности, — она была привязана к своим комнатным собачкам тою неподдельною и не экзальтированную любовью, какую я в детстве имел и теперь имеют мои

маленькие племянники и сынишка к нашим дворовым собакам: это хорошие собеседники, с которыми говоришь от души, товарищи, приятели. Бабушка находила, что держать собак в комнате неприлично; другие мои старшие — ее дочери и зятья — конечно, этого [не думали], но сами чуждались такой привычки; матушка даже не любила комнатных собак; другие не имели природного расположения к ним. После я, конечно, понял, [что] манера иметь комнатных собачек, чуждая нашему кругу, зашла в него с Александрой Павловной из барской жизни. Но если мои не сочувствовали этой ее привязанности, подсмеивались над ее крайностями, вроде мечты об уменьши собачек кланяться гостям, то все симпатизировали другой привязанности, которая еще более занимала собою Александру Павловну, — ее страсти к цветам. И при жизни мужа, когда деликатная Александра Павловна не хотела делать того, что не соответствовало его понятиям о виде комнат, у нее было занято цветами все то пространство маленьких комнат, которое можно было занять ими без нарушения обыкновенного [порядка]: середина комнаты должна быть свободна, и не должны быть ничем замаскированы стулья, диван; углы комнат, промежутки между мебелью, все было наполнено горшками цветов. А когда Александра Павловна осталась вдовой, хозяйкою своих комнат, то ее домик весь наполнился цветами. Это было, уже когда я жил в Петербурге. Когда я заходил к Александре Павловне в 1861 году, цветов было много, — больше, чем я видел при [Матвее] Ивановиче; но Александра Павловна уже жаловалась на то, что ей изменяют силы, что в последнее время недостало их на уход за столькими цветами, сколько было у нее прежде, — многие погибли оттого, что она не могла заботиться о всех как следует. Такая сильная страсть к цветам, конечно, дело природы; но вероятно много тут значили и воспоминания первой молодости, оранжерей, зала, устроенного зимним садом. — Вероятно, я не пускаюсь в слишком тонкие соображения, думая видеть в обеих особенных привязанностях Александры Павловны следы ее молодости, проведенной хоть и скудно, и стесненно, но в богатом барском доме. Но и теперь следы этого я могу отыскивать в ее известной мне жизни только по соображению: сама она никогда не пускалась в эти воспоминания, и мои родные тоже не обращались к ним, когда говорили о ней. Уж по одному этому можно было бы сказать наверное, что Александра Павловна была очень хорошая и благородная женщина: пышность, блеск, из какого бы темного и дрянного уголка ни видели мы их близко, так заманчивы нашему тщеславию и всем пошлым нашим качествам, что лишь очень хорошие люди не имеют слабости как-нибудь нет-нет, да и припомнить что-нибудь в таком роде, что дескать пышная обстановка мне знакома. А если не только мне не случалось слышать таких воспоминаний от Александры Павловны, но и мои родные не занимались ими, то, значит, и они не слышали их от Александры Павловны и тогда, когда они были свежее в ней.

И действительно, Александра Павловна была очень благородная, почтенная женщина. Все мои близкие и дальние родные говорили о ней всегда только с уважением и похвалою. Бабушка была охотница бранить людей — это ей не порицанье, потому что она и в глаза резала такие же приговоры, какие делала за глаза, — и подле нее, старушки, не мало было пересудов, так что дочери очень часто держались в стороне от ее разговоров, а зятя возражали ей, — один, дядя мой, основательными, подробными объяснениями, что осуждаемый или осуждаемая вовсе не так дурны, — другой, мой батюшка, почти только общими замечаниями: «матушка, ну, что так строго говорить о людях», — и, конечно, бывали в нашем кругу, особенно в комнате бабушки, собеседники и собеседницы, не уступавшие ей критическими наклонностями, — но и от самой бабушки я не слышал, кроме порицания комнатных собачек, ни одного слова об Александре Павловне, сказанного иначе, как с уважением и расположением, ничего кроме похвал и сочувствия.

И она стояла их. Например, она была близка к двум очень богатым семействам; с нею советовались в затруднительных семейных делах; за нею присылали, как что-нибудь случится в семействе, — какая-нибудь размолвка, или занеможет ребенок, — ей поручали детей, когда уезжали на несколько дней в деревню, — она была для этих очень богатых семейств, совершенно посторонних ей, тем, чем бывает для богатых людей бедная, но живущая своим особым хозяйством родственница, которая старше летами, опытнее нестарых людей в этих семействах и просто умнее равных ей летами. Это — прибежище и помощь всегда, когда нужна, и ненужное лицо, когда ненужна. Я не полагаю, чтобы эти семейства были особенно скупы, но, получая на каждой неделе сотню услуг от Александры Павловны, они не производили никакого заметного улучшения в ее быте; значит, она держала себя так, что они и не думали о ее нуждах, — знали, что она женщина бедная, но не имели случаев вспоминать об этом. Она любила рассказывать о жизни этих семейств, но ее подробные рассказы были рассказы, какие каждый любит делать о людях, к которым расположен: она готова была целый час толковать, как, например, собирались NN в деревню, как доехали до деревни, какие поправки делаются теперь в их городском доме, пока их нет, как раскашлялась маленькая дочь, как опасались, не скалатина ли это, — и все бесчисленное и бесконечное прочее, что так занимает искренних друзей и что решительно непригодно ни для каких пересудов. Не только ничего похожего на сплетню не было в ее собственных словах, — и другой никто не мог извлечь из них никакого материала для сплетни. Но можно было извлечь из них, — хоть до этого она не думала касаться, что она, бедная, держит себя в этих богатых домах чрезвычайно благородно, как очень немногие умеют быть и не заносчивы и почтенны в подобных отношениях. Надобно ли после этого говорить, что она никогда не жаловалась на мужа? — Женщина

умная и очень рассудительная, вовсе не притворщица, не охотница хитрить, она не старалась притворяться, что не понимает нелицепростости его поступков или не чувствует на себе вред их. Но она никогда не заводила разговора, никогда [не] вдавалась в него, если он начинался без ее воли, и все понимали, что для нее такой разговор неприятен, потому не пускались при ней в суждения о Матвее Ивановиче, — разве подведет невзначай к этому вообще разговор о житейских делах, — тогда Александра Павловна неохотно и в мягкой форме выражала мнение, что Матвей Иванович поступает странно и нерасчетливо.

А даже и мне, ребенку, видно было по лицу Александры Павловны, что Матвей Иванович плохой семьянин. Александра Павловна была женщина высокого роста, крепкого, стройного сложения, с правильными чертами лица, — следовало бы, чтобы она была хороша собою. В то время, когда начинается моя память, ей было лет 35, может быть 40, — но это ничего. Анна Ивановна, — младшая сестра моей бабушки, — была старше, вероятно, годами пятью, и я еще помню ее с молодым, очень красивым лицом. При том образе жизни, какой вели мы и наши родные, женщины очень долго сохраняют молодость, — особенно, когда у них нет детей; а у Александры Павловны не было детей. У моей матушки было двое детей; она была очень долго очень больною женщиною, — лет десять, — и потом, после операции, о которой я рассказывал, хотя очень поправилось ее здоровье, но все-таки осталась довольно хилою; а когда она провожала меня в Петербург, в университет, на постоянных дворах меня иногда принимали не за сына, а за мужа ее, и не высказывали замечания, что жена стара для мужа, — вероятно давая мне лет за 20, и ей давали лет 25, хоть ей было 42 года. Александра Павловна не была на моих детских глазах красива собою не потому, что ей было 40 лет, а потому, что цвет ее лица был не тот, при котором женщина сохраняет красоту дальше молодости. Никто из нас и наших родных не принадлежал к людям с состоянием, все жили очень скромно, и женщины моих родных семейств принимали очень много участия в домашних работах. И Александра Павловна не сама была стряпухою и полойкою, — у ней была служанка, пожилая девушка. Но видно, что все-таки и барыне приходилось исполнять слишком много тяжелой работы, видно, что и стол ее был слишком скромным: ее лицо загорело, будто муж ее не был «благородный».

После периода «беспутной» жизни Матвей Иванович стал виню облегалчть страдания таких же мучеников, каким был сам недавно; но это направление его деятельности не было продолжительно, — скоро моления в церквях и дома, назидательные разговоры и благочестивые размышления совершенно поглотили его, и уже навсегда.

Из рассказов бабушки я узнал такие черты раннего периода благочестивой жизни Матвея Ивановича.

«Вздумалось ему ехать в Киев. Куда чиновнику от службы ехать? Хорошо ли? И ехать надобно с деньгами, — это хорошо достаточным людям, а у него какие деньги? Ну, сколотил деньжонок, одежонку продал, — ведь у Александры Павловны было хорошее приданое: белье самого отличного полотна, и много; платья тоже, ну, и вещицы кое-какие» (из этого не следует заключать, что у Александры Павловны было приданое, заслуживающее имени приданого: может быть, и всего-то было: белья, платья и вещей рублей на пять-на шестьсот ассигнациями, — может быть, и больше, и много больше, — я не знаю, — но и такого приданого, ценность которого я определяю, было очень достаточно по тому кругу и времени, чтобы бабушка называла его «хорошим», пожалуй иной раз и «богатым»), — все спустил сначала на вино, потом на другие свои сумасшествия. Может, и выпросил у кого деньжонок, помогли, — ну, сколотил сколько там рублей. Купил телегу с кибиткой, лошаденку, — тащит с собою и Александру Павловну. — «Да мне-то зачем, Матвей Иванович? — она говорит: — и одному ехать лишний расхрд, да еще на меня. Лучше я останусь; как-нибудь проживу. Ступай один, дешевле». (Умная женщина.) — «Нет, говорит, подлячка». — Так и звал ее подлячкой, свинья этакий, варвар, подметок ее не стоит. — Да и сам хорошо об этом сказал, каков он. Все «подлячка» да «подлячка» — вот, раз она и не стерпела, сказала: «Если я подлячка, Матвей Иванович, зачем же ты на мне женился?» — «Да как бы ты не подлячка была, разве бы тебя за меня отдали?» — он-то отвечает. Нашел ответ, видно, что сам себя хорошо понимает, что и тот злодей, кто за такого человека выдал девушку. Так чорт же его знал, что он выйдет этакой урод и тиран. Тогда ведь еще не пил; а о нынешних своих глупостях и понятия не имел. — Так вот, собираются-то они в Киев да в Москву, богу молиться, — мало места ему, дураку, в саратовских-то церквах, — просторные, хотя во весь рост растягивайся на полу-то по будням-то: просторно, никого нет, — и полы-то каменные: хоть пробей лоб-то, коли усердие есть, можно, камень-то здоровый, выдержит. — Тащит Александру Павловну с собою, да и только. — «Да что ж мне ехать, — она говорит, — когда не на что и тебе одному. Зачем я поеду?» — «Ах, ты, подлячка! Да разве ты не жена? Я за твою душу-то должен отвечать. Да и сладко ли мне будет смотреть, как ты в аду будешь сидеть?» — Вот тебе и резон. Так и взял с собою. И натерпелась же она мученья в этой дороге! Сам ест как следует, а ее сухими корками кормит. Это, говорит, лучше для душевного спасения. — Ну, недостает ее терпенья, — да и смешно уж ей, с горя-то. Говорит: — «Матвей Иванович, что ж это, меня корками спасаешь, а сам ешь, как следует, — ты бы уж и себя-то спасал». — «На тебе много грехов, говорит, тебе надобно смирять себя постом и умерщвлением плоти, а мне уж нечего, на мне грехов нет никаких». — Так ведь и говорит, дурак. Праведник какой завелся. — Лошаденка плохая, — как дождик, чуть дорога в гору,

она и становится. — Что же вы думаете? — Сам сидит, а жену гонит с телеги: «Слезай, говорит, лошади тяжело, ступай пешком». — «Матвей Иванович, ты в сапогах, да и то не слезаешь, а я в башмаках как буду идти по такой грязи?» — «Мне, подлячка, можно сидеть, на мне грехов нет, а тебе надо пешком идти, чтобы усердием этим искупить свои грехи». — Так и сгонит с телеги, и идет она пешком по дождю да по грязи. Вот они какие, праведники-то. У них у всех сердце жестокое. В них человеческого чувства нет».

Вспомнился мне совершенно другой анекдот, не из того времени, не из того быта, вовсе не к тому делу относящийся и слышанный мною, уже когда я жил в Петербурге совершенно в другом кругу, в 1856—1857 годах¹⁰. Вспомнился мне от слов Матвея Ивановича, что ему нечего много подвизаться, потому что он и так хорош, а надобно много подвизаться Александре Павловне. Рассказывал мне это сам тот, кто затеял дело, решенное резолюцией, сходною с мнением Матвея Ивановича.

Этот мой знакомый, очень умный и очень хороший человек, один из лучших людей на свете, но имеющий ту смешную слабость, — и я, и все его знакомые постоянно трюнили над ним за это, но на него не действовали насмешки, и его не охлаждали неудачи, это человек не такого сорта, чтобы опустить руки, — имеющий ту слабость, что если видит нелепость или вред, непременно старается объяснить кому надобно, что это нелепо или вредно и что надобно это исправить. — Итак, этот мой знакомый, не русский, проходил в необыкновенно далеких местах и необыкновенно малых чинах военное поприще. Однажды, сидя в казарме, стал он вслушиваться, как солдат, готовясь к осмотру, твердит «словесность». — «Словесность» — это значит «пунктики», а «пунктики» — это значит: изложение основных понятий о звании и обязанностях солдата, которое надобно солдату знать твердо, потому что начальники, приезжающие осматривать войска, должны удостовериться между прочим и в этом, и спрашивают у солдат эти «пунктики». Один из пунктиков служит ответом на вопрос: «что нужно солдату?» — и начинается так: «Солдату нужно немного: любить бога, царя и отечество», и т. д. Вот, мой знакомый слушает, — солдат твердит: «Солдату нужно» — остановка — «немного любить бога, царя и отечество». В другой, в третий раз — все то же самое, — «Солдату нужно: немного любить бога», и проч. — «Ты, мой друг, не так учишь, надобно вот как: «Солдату нужно немного», — это значит, что немного требуется от солдата, что обязанность у него легкая, — и вот какая: «любить бога, царя и отечество», а любить их надобно усердно. Учи же так: «Солдату нужно немного», — знакомый делает остановку в голосе, — «любить бога, царя и отечество». — «Так, как вы говорите, выходит больше толку, но фельдфебель показывал так, как я учу», — сказал солдат. «Не может быть!» — знакомый возбудил вопрос между своими сотоварищами. Все учат так, как первый, у которого он подслушал, грамотные по-

казали ему и списки пунктиков, — во всех списках так: «Солдату нужно» — две точки — «немного любить», и проч. Мой знакомый пошел к ротному командиру. Ротный командир был человек очень простого образования или вовсе никакого. — «Солдаты учат пунктики вот как, а надобно вот так». — «Я и сам знаю пунктик так, как они, а не так, как говорите вы. Так написано. Ступайте к батальонному командиру, я не могу переменить». Правда. Мой знакомый пошел к батальонному командиру. И тот то же: «Я сам так знаю пунктик, как они. Должно быть, что так написано в списке, который прислали нам из корпусной канцелярии». — «Посмотримте, так ли». — «Посмотрим, в самом деле», — сказал батальонный командир, — призвал писаря, писарь нашел, принес подлинный список, который должен служить основанием для всех копий, — посмотрели, — точно, и в нем так написано: «Солдат должен» — две точки — «немного любить» и т. д. — Выше батальонного не было начальника на 100 верст, а может быть и на 500 кругом, — итак, батальонный командир, тоже человек простой, не мог отправить моего знакомого к высшему начальству за разрешением, должен был решить вопрос о «словесности» сам. Мой знакомый стал объяснять то, что объяснял своему товарищу. Батальонный командир конечно также понял, что манера чтения знакомого более идет к делу, чем та, которую он называет ошибочною. — «Но позвольте, однако ж, надобно еще подумать», — сказал он. Подумал несколько минут, и сказал: «Нет, написано так; ошибки нет». — «Как нет? Как же солдату учить, что ему нужно только немного, не сильно, а слабо любить бога, царя и отечество? Это против смысла». — «Нет, я теперь увидел, в этом-то и есть настоящий смысл. Вы не русский, так вам это и кажется не так; и точно, для вас не так, вам нужно много любить бога, царя и отечество, потому что если вы не будете любить их много, то вы не будете хорошо служить. А для нас, русских, и немножко любить их уже довольно. Поняли теперь? Мы русские, что нам много об этом заботиться? Это у нас само собою, врожденное, не то, что у вас, нам нечего об этом хлопотать». Так и осталось: «солдат должен» — две точки, пауза — «немного любить», и проч.

Я нахожу в этой истории — экстракт русской истории по крайней мере за последние 375 лет, если не больше, в батальонном командире — олицетворение русской нации за все это время. Он был, как видно, не очень ученый человек, — но уже кое-что знал; он имел понятие о том, что за штука двоеточие, — так и русская нация, хоть и ни теперь, ни в XVI веке не была из передовых по просвещению, но уже и тогда сильно понатерлась в книжной мудрости, благодаря Византии. Но именно знание-то силы двоеточия и подкупило батальонного командира: будь он человек безграмотный, ему не на чем бы упереться против здравого смысла. Православную Русь наука стала затуманивать не с Петра Великого, а гораздо раньше, и с половины XV века уже очевидно ее тяготение над нашею жизнью. Батальонный командир не был орел — и мы

тоже не орлы, а люди; но он не был глуп, хоть и решил дело глупее дурака, — нет, на это решение нужна была порядочная и порядочная тонкость ума, — нужно было гораздо больше ума, чем было бы достаточно для здравого решения дела; отчего ж это он так странно решил? — да оттого же, отчего мы с бабушкой не догадались, что попукивавшие из ружей спутники ее матушки, мой прабабушки, не были разбойники, — а какая это причина, там уж и объяснено, где рассказано о попукивавших спутниках. Две точки поставлены на этом месте; следовательно, вся сила ума должна быть обращена уже на то, чтобы убедить себя и других в красоте и основательности их стояния на этом месте.

По рассказу о путешествии в Киев и Москву Матвей Иванович является грубым, гадким человеком, — ругает жену, мучит ее. Но как дурного человека, грубого притеснителя, я знал его только по этому рассказу, относившемуся к давнопрошедшим временам. На мой памяти он был уже вовсе не таков. Он обращался с Александрой Павловной почтительно, так что нисколько не шокировал меня, привыкшего видеть, что мои батюшка и дядюшка никогда не говорят своим женам сколько-нибудь грубого или жесткого слова. Он уже и не заботился о ее душевном спасении, и не объяснял ей, что на ней много грехов, — он уже спасал только себя. Вероятно, он и сам отчасти рассмотрел понемножечку, что его жена — [женщина], которую следует уважать; вероятно, он и по природе не был нахал и «ругатель», а грубые бранные слова нацепились ему на язык во время его кабацкого гулянья с сквернословками и выходили из употребления по мере того, как вообще сглаживались годами следы этого грязного гулянья; конечно, помогло ему почувствовать почтение к жене то, что он видел уважение к ней со стороны своих родных, которые были важнее его самого по общественному положению, — первый муж тетушки был дворянин, офицер; второй, — которого я называю дядюшкой, — помещик; мой батюшка — второе лицо, а муж другой сестры моей бабушки, мой крестный отец, первое лицо по почету в саратовском белом духовенстве, и каковы бы ни были действительные отношения несколько важных светских людей к ним, — об этих отношениях еще будет речь, — но формальным образом все-таки часто случалось им сидеть на первом месте за столами у начальников Матвея Ивановича; их уважение к Александре Павловне должно было показывать Матвею Ивановичу, что не годится ему не уважать ее. Но много я полагаю, — вероятно, больше всего, направили его прямые наказания, — то-есть очень резкая брань, — моей бабушки, ее сестры и в особенности ее матушки, моей прабабушки, а его тетушки. Дальше будет история о том, как отучила моя бабушка одного из своих клиентов от дурного обращения с женою; прабабушка была тоже женщина с бойким характером, — она бранила как мальчишку при многочисленных гостях другого своего племянничка, уже важного человека в саратовском мире, за то, что он непочтительно выразился о своем отце, через меру выпивавшем старичке. А в это вре-

мя она была уже хила. Матвей Иванович должен был [пройти] ее школу раньше, когда она была еще бодрою старушкою, и я не знаю, до какой степени она, назидая Матвея Ивановича, ограничивалась только словами. Это ей и ему было знать.

Но как бы то ни было, при помощи ли прямых родственников мер назидания, или преимущественно сам собою исправился Матвей Иванович, а я знал его уже человеком, не обижавшим жену грубостями, — и вообще человеком — как это сказать? — хорошим или нехорошим? Это, положим, трудно решить, но по справедливости надобно сказать: человеком безукоризненным. Честен он был вероятно всегда, низостей не делал, — вероятно никогда. А на моей памяти он был уже таков, что нелепо было бы ждать от него нечестного или нехорошего поступка. Он даже [не] был человек сухого сердца, — пробным камнем этого служит, как вероятно и до меня было известно читателю, обращение человека с детьми. Матвей Иванович, здороваясь и прощаясь с нами, детьми, гладил нас по головке, ласкал, как всякий другой обыкновенный человек, — не приторно, не натянуто, не притворно, — мне кажется, что в голосе его ласковых слов звучало иногда и довольно теплое расположение ко мне или другому ребенку, с которым он здоровался или прощался. Я не могу сказать, чтоб и в разговорах его с взрослыми или в его взглядах, манерах было что-нибудь притворное, льстивое, — а я в детстве был, вероятно, чуток на это, по крайней мере терпеть не мог нескольких своих более или менее дальних родственников, в которых было притворство; и мои старшие, даже сама бабушка, не винили его в притворстве или «иезуитстве», как она выражалась.

Итак, я теперь полагаю, что Матвей Иванович не был ни злой, ни дурной человек, и положительно уверен, что он был человек честный, и в детстве не думал о нем иначе. А между тем, я тогда ставил резкую разницу между ним и всеми остальными нашими родными и близкими знакомыми, — разницу в невыгоду ему. Я знал, что некоторые из людей, с которыми я не хочу сравнивать его, нечестные люди: взяточники или плуты, а он ни то ни другое; к этим людям я имел неприязнь, — к нему не имел; тем я желал бы вредить, ему нет; а между тем, у меня к нему меньше лежало сердце, нежели к ним, — не знаю, понятно ли я выражаю это довольно сложное, но очень частое отношение. Это похоже на разницу впечатления, делаемого на вас негодяем, пожалуй злодеем, но здоровым, чистым, — вы пожалуй можете опасаться его умыслов на вас, может быть, он ранил вас, хотел убить, — может быть, вы убили его, обороняясь, — но вы не чувствуете физической безразличности к нему, — его прикосновение не гадко для вас, хоть, может быть, ужасно; а если вам привита оспа, вы ведь несколько не опасаетесь вреда себе от прикосновения к человеку, который покрыт оспенными нагноениями, — и пусть этот человек честный и хороший человек, — вам все-таки хочется отворачивать глаза от него, неприятно дотрогиваться до него.

И не то, чтобы содержание разговоров, которые велись, когда Матвей Иванович бывал у нас, или мы бывали у него, или встречал я его у других родных, имело очень много элемента, производившего такое впечатление на меня. До какой степени содержание разговоров могло быть проникнуто особенным запахом, легко будет судить по одному случаю, который был уже незадолго перед моим отъездом в университет. В то время, 1845—1846 годы, у нас бывал почти как свой человек И. Г. Терсинский, который думал сделать предложение старшей из моих кузин. Это было и видно нам, да и не утаиваемо им, разумеется, хоть он еще и не говорил об этом; но он говорил, что не останется в Саратове, поедет служить в Петербург. Он — магистр Петербургской духовной академии и, что еще важнее для характеристики случая, был тогда профессором богословия в саратовской семинарии. Сидел у нас он, сидел и Матвей Иванович. Говорили. И долго сидели и говорили. Вдруг, как-то, разговор повернулся на то, что Иван Григорьевич едет в Петербург. Услышав это, Матвей Иванович, который еще не знал об этом, редко видел его, сказал: «Кто едет в Петербург, тому нужно вот это крепко иметь». — Матвей Иванович, говоря это, коснулся рукою своей груди.

— Да, — отвечал Иван Григорьевич, — она у меня иногда побаливает, но это ничего, я за нее не боюсь. Это вероятно легкая простуда. Грудь у меня здоровая.

— Веру крепкую нужно иметь, — в сердце надобно иметь крепкую веру, — пояснил Матвей Иванович, видя, что его не понимают.

— Ах, вот что! — сказал Иван Григорьевич. И все мы присутствовавшие мысленно повторили его выражение неожиданного откровения и, переглянувшись, увидели, что все мы, подобно Ивану Григорьевичу, не догадывались, в чем нужна крепость.

Вероятно, магистр духовной академии и профессор богословия не был медлен и неопытен в понимании духовного смысла слов; значит уже слишком мало имел такого смысла весь предшествовавший длинный разговор, если Иван Григорьевич мог до такой степени забыть о возможности духовного смысла в человеческих словах, что не понял такого ясного духовного смысла «крепости» в груди с положением руки на сердце. Ведь очень хорошо известно, что провинциалы считают Петербург безбожным городом, подрывающим благочестие в поселенцах своих, и следовало ждать от Матвея Ивановича предостережения в этом духе, — но нет, никто не ждал, и никто не понял.

Кстати о Петербурге и моем отправлении в петербургский университет. Что я поеду в университет, было решено за целый год до отъезда; прежде того много советовались в семье; тогда же и о том, в какой университет ехать, казанский, московский или петербургский; и потом несколько времени колебались между этими городами; и когда уже решились, моя поездка в Петербург конечно оставалась одним из главных предметов семейного разговора до самого отъезда. Само собою, что с Матвеем Ивановичем не сове-

товались же об этом. Но все-таки упоминания об этом необходимо делались при нем много раз. Не может быть никакого сомнения в том, что его глубоко возмущало решение вопроса о высшем образовании сына протоиерея в пользу светского заведения, а не духовной академии; что точно так же, если мои старшие уже сделали такое неблагочестивое решение, то все же легче для Матвея Ивановича была бы Москва с ее святынею, чем нечестивый Петербург. Но он решительно ни одним словом не выказал своих мнений по вопросам, решаемым в духе, столь возмутительном для него. Вероятно, уже слишком ясно для него было его положение в наших разговорах, если он не сделал ни малейшей попытки подать руку помощи по этому делу. Значит, он уже очень твердо был убежден, что с такими людьми, как мои старшие, нечего расточать словеса духовные.

И точно, он, бедный, видел прискорбную необходимость рассматривать предметы в беседах с нашей семьей и другими нашими родными исключительно с земной точки зрения. Духовный смысл никак не вклеивался в эти разговоры. Все мы были или духовные люди, или, как моя тетушка и дядюшка, если сами не духовные люди, то слишком тесно связанные с ними люди; церковь, священник, обедня, архиерей, пост, исповедь и принадлежащие к тому же кругу жизни слова конечно составляли чрезвычайно значительную долю произносимых нами слов, и понятия, им соответствующие, составляли может быть целую половину наших мыслей. Но все это занимало нас исключительно со стороны, совершенно неудовлетворительной для Матвея Ивановича. Церковь — это было у нас преимущественно «наша церковь», т.-е. Сергиевская, в которой служил мой батюшка; в доме Федора Степановича, моего крестного отца и мужа сестры моей бабушки, — преимущественно «сбор» и исключительно «новый»; эти церкви очень озабочивали собою всех нас, вслед за батюшкою и крестным отцом: нас — наша церковь главным образом со стороны обыкновенного ремонта, на который вообще нехватало ее доходов; например, «белить церковь» — вероятно, наша семья столько же толковала об этом вопросе, сколько о том, делать ли вновь деревянную кровлю на нашем доме, когда прежняя изветшала, или крыть дом железом. — «Священник» — это был у нас чаще всего Яков Яковлевич, товарищ моего батюшки по «нашей церкви», прекрасный человек, которого обидели, отставив от должности эконома при семинарии, чтобы отдать эту должность тоже священнику NN, о котором предсказывалось (и сбылось), что он растратит казенные деньги; и все другие священники, и дьяконы, и дьячки, и пономари занимали нас все с таких же сторон, — наш дьякон, например, Яков Федорович был прекраснейший человек и очень хорош со всеми нами, почти родной, — но дьякон NN был дурной семьянин. Архиерей (покойный) Иаков занимал собою всех нас с той стороны, что «не знает дел», то-есть законов и форм, и поэтому Федор Степанович и батюшка часто видели, что все их усилия направить «дело» по

правде расстроены докладчиком NN и что такой-то священник от этого пострадал, — переведен из «хорошего» прихода в «дурной», по проискам другого священника у докладчика, — но Федор Степанович и чрезвычайно утешался другим свойством архиерея: Иаков был очень скромен в одежде, мебели, экипажах и проч., так что Федор Степанович, бывший казначеем архиерейского дома, успевал устраивать запасный капитал для этого дома, — накопил архиерейскому дому уже тысяч 25 (ассигнациями). Вот разговоры моих родных — и Матвей Иванович принужден был ограничиваться такими разговорами о «церкви», «архиерее» и всем принадлежащем к церковному и архиерейскому ведомству.

Поэтому хотя он в то время, как начинается моя память, постоянно был уже только в хороших отношениях с нами, он не часто бывал у нас, и мы не часто бывали у него, — то-есть у него-то мы, пожалуй, и вовсе не бывали; мы бывали у Александры Павловны, и она бывала у нас гораздо чаще, чем он; и она бывала как вообще бывают родные, не оттягиваемые в дом заботой о детях: с утра до вечера, с полудня до ночи, — разумеется, как своя: и соснет, если вздумается, и в хозяйство вступится, если вздумается. А Матвей Иванович бывал вроде гостя. Зайдет по утру — не остается обедать; зайдет вечером — едва досидит до чаю, без которого нельзя же уйти, и бежит. Скучно ему, не компания, хоть родные, и потому он любит их и они любят его.

Но если телом он не часто пребывал среди нас, то мысли наши — конечно, не в присутствии Александры Павловны, — часто довольно подолгу и не без приятности останавливались на нем. Манеры его, тон голоса, слова его — все это служило недурным предметом разговора, когда не случится другого предмета.

Сама бабушка не считала его «иезуитом». Но, — чтобы сказать о нем словами из его любимых источников аллегоризма, — видно уже такой предел положен, что «прикасающийся к смоле бывает замаран смолою», хотя бы вовсе не был сам смолокур. Его плавные, тихие, медлительные, скромные, смиренные движения, его тихий, медленный, мягко внушительный говор, его постное лицо, умиленный и ласкающий взгляд — все это было как следует быть всему этому у «иезуита». Это все было у него в довольно слабом развитии, потому что было не «сиянием внутреннего света» иезуитской натуры, а внешним «осмолением», лишь придающим несколько лоску. Легко было рассмотреть, что под внешностью «иезуита» скрывается обыкновенный смертный, не ядовитый. Но эта внешность уже отталкивала от него меня, ребенка. Я привык видеть простых людей, — близко к себе почти все только хороших, а не очень близко и многих дурных, — и между дурными людьми были хитрецы, интриганы — но хитрецы и интриганы, ломавшие не на тот манер, как он, — по-житейски, по-земному, — они не были любезны моему сердцу, но все-таки они были частью, — хоть и неприятною частью, — того мира, в котором я жил. А Матвей Иванович был на мои [глаза] — бог знает что такое, вовсе ни к чему

не подходящее. Те, дурные люди, не нравились мне, как дурной квас; как у нас да и у родных этот национальный напиток был почти всегда хорош; но и дурной квас можно пить, хоть с неприятным чувством; а Матвей Иванович был — какая-то «кава», которою жители Сандвичевых островов подчивали капитана Кука, как я прочел тогда у Дюмон-Дюрвиля: жуют корешок, плюют на корешок, — нажевав, наплевав, разводят все это водою и подносят капитану Куку. — Нет, нет, нас этим не угощайте, — у нас от этого «душу воротит».

Но Матвей Иванович давно уже был существо смиренное и безвредное, — по крайней мере для всех остальных людей на свете, кроме Александры Павловны; а Александра Павловна и не жаловалась на него, да и привыкли уж [видеть ее] живущею очень небогато, стало быть, живо принимать это к сердцу было уж не по времени, когда время стало на моей памяти; потому и не рассуждали серьезно о безобидной каве Матвея Ивановича, а только потешались над нею. Поводы к потехам были беспрестанные, но все очень мелкие: то комический разговор с каким-нибудь буяном парнишкою, которого он станет назидать на улице и который сконфузит его какой-нибудь уличною мальчишескою выходкою, то встреча Матвея Ивановича с каким-нибудь подобным ему боголюбцем, с которым они, начав рассуждать о любви и смирении, тут же кстати и побранятся; конечно, эти анекдоты прикрашивались, но и в прикрашенном виде все они были так мелки, что ни одного из них не уцелело в моей памяти; осталась только басенка, которую с большим юмором рассказывал мой крестный отец, — шутник и отличный рассказчик, не претендуя и выдавать ее за истину. Содержание побасенки состояло в том, что вот вчера, — а вчера был страшно знойный день — часа в два, в три, в самый жар, случилось ему ехать мимо домика Матвея, и вздумал он зайти. Отворил ворота, и видит что же? Стоит на одной стороне двора полуразобранная поленица дров, на противоположной стороне — полусложенная поленица дров, а Матвей Иванович с домохозяевами, то-есть Александрою Павловною и служанкою, пожилую девушкою Агафьею, занимаются перетаскиванием дров из одной поленицы в другую. — «Что это вы делаете?» — «Матвей Иванович заставил нас с Александрою Павловною души свои спасать с ним вместе, — подвигаемся», — отвечает Агафья, смеясь пополам с горем. — «Да вы бы лучше по холодку, утром пораньше или вечером попозже души-то спасали», — говорит убедительно-добросовестным голосом гость, будто простяк, не понимающий в чем дело: — «а теперь вот и собаки в конурах лежат, высуя язык от жару». — «По холодку-то спасенья не будет, говорит Матвей Иванович», — возражает служанка. — «А, вот что! Так вы бы, Матвей Иванович, уж Агафьину-то душу не спасали, — говорит гость, обращаясь к Матвею Ивановичу: — ведь она поди, чай, до сих пор молоканка, какая смолоду была, — так уж не спасете». — Агафья, точно, молоканка, смеется. — «И много вы так спасаетесь?» — обращается

он опять к Агафье. — «Да вот, как жары начались, каждый день об эту пору по пяти раз поленицу перекалываем». — «Ну, подкрепи вас господь! Хорошее дело».

В действительности было кое-что подавшее основание к этой шутке. Матвей Иванович как-то, точно, таскал несколько булыжник с места на место, но не по зною, а по холодку, и один: звал жену и служанку, не пошли; да и самому дня через три-четыре надоело.

После этого замечательнейшим из известных мне подвигов Матвея Ивановича было хождение его в Москву к св. мощам, через Воронеж и Киев. Он для этого соорудил себе какой-то особый костюм, в котором важнейшую часть составляли брюки, обшитые кожей в некоторых местах, на манер кавалериста, или, что было гораздо знакомее в Саратове, венгерского бродячего торговца лекарственными снадобьями, гранатами и нарядами, то-есть на манер «цыцарца» (цесарца, австрийца), как звались у нас эти люди. Можно было смеяться, что Матвей Иванович для спасения души пошел в цыцарцы и надел на спину цыцарскую «аптечку». В ходьбе он был крепок и быстр, так что обгонял партии, к которым приставал, и почти всю дорогу улепетывал один, — но с первых же верст ревность его поубавилась настолько, что, пошедши в Москву через Воронеж и Киев, он повернул курс с запада на север, уже прямо в Москву, чтобы спасти душу не 3 500, а только 2 000 верст путешествия, — и таким образом, когда дядюшка и тетушка, жившие тогда в Аткарске (по прямой, но не официальной дороге из Саратова в Москву), поехали с детьми однажды за город, то увидели среди поля идущую к Аткарску странно одетую фигуру, вроде маленького, старенького статского пешеходного кавалериста, — и по достаточном приближении эта фигура оказалась Матвеем Ивановичем, идущим спасать душу в Москву с изменою Киеву. — Не только дети, и тетушка с дядюшкою долго не могли без смеху вспоминать о его потешном виде, — посадили его к себе на дроги, — он было сомневался, не грешно ли ему будет садиться ехать часть дороги, которую он должен пройти пешком, — его убедили, что нет, бог не взыщет, когда это не по недостатку усердия, а по просьбе родных, — повезли его в город, привезли, напоили чаем, оставили ночевать, поутру вывезли в другую сторону от города и пустили молодца опять в чистое поле. Под Аткарском он сомневался, позволительно ли садиться на дроги, а когда возвратился из паломничества, то у него же самого выведали, что потом он частенько и частенько принанимал попутных извозчиков, подвезти его, — бойкие ноги изменяли, хоть и были снабжены рейтузами, собственно для них изобретенными. Ну, и журили его родные ровесницы: «Куда уж вам, Матвей Иванович, на старости лет по святым местам ходить, — хоть бы дома-то бог грехам терпел, спина бы не ломилась, и то в наши с вами лета хорошо».

И вот, все важное по этой части, что прикасалось моей детской жизни. Антонюшка, добрый мужичок, шалуун, — жаль, что без-

грамотный, а то бы при своем уме мог бы и чем-нибудь путным заняться на пользу людям, а по безграмотности занимается — дело извинительное ему, — пустяками, — да Матвей Иванович, занимающийся перекладыванием дров от одного забора к другому, — ну, этот от роду видно был с придурью, хорошо хоть и то, что стал смирен, а путного ничего никогда не вышло бы из него, — бог с ним, пусть перекладывает дрова, только Александру Павловну жаль, заел ее век. Ну, да как быть-то, этак-то и частенько бывает, что муж женин век заедает: с пьяницею-то еще хуже бы жить-то ей.

Такие рассуждения слышал я от бабушки, и они слишком подтверждались способом обращения других моих старших с субъектами этих рассуждений, гораздо менее занимавшими всех их, чем бабушку. А и бабушку-то они очень мало занимали — и насколько занимали, то почти только в качестве мелочи, пригодной на то, чтобы от скуки улыбнуться над ней.

Вот что давала мне жизнь по этой части. — «Неужели же не было ничего более важного?» — «Не было». — «Но»... Знаю, только перед этим «но» надо сделать небольшое объяснение об одной «дистинкции», выражаясь языком латинского сочинения Феофана Прокоповича, о котором скоро пойдет речь. Впечатления жизни и чтение книг *distinguo*, «различаю», — второе многовато послабее первого. — «Но кроме чтения неужели и в разговорах»... Без сомнения, только опять: речь, в которой слышится трепетание жизни говорящего, и речь, которая говорится от нечего делать, для провождения времени, при оскудении других предметов разговоров, — *distinguo*, различаю, — это две вещи разные. Приступив, *distinctis distinguendis, disseramus*, «постановив надлежащее различие предметов, различных между собою, займемся рассуждением о них».

II

Я сделался библиофагом, пожирателем книг, очень рано. В десять лет я уже знал о Фрейнсгеймии, и о Петавии, и о Гревии, и об ученой госпоже Дасиер, — в 12 лет к моим ежедневным предметам рассмотрения прибавились люди в [роде] Корнелиуса à Лапиде, Буддея, Адама Зерникава (его я в особенности уважал), — как я познакомился с этими более или менее неслыханными в XIX веке великими знаменитостями ученого мира моего детства, объяснится ниже, — и вероятно многими сотнями страниц ниже, — раньше я не надеюсь достичь до настоящего рассказывания о том, как я выучился читать и что стал читать, когда выучился. А теперь я хотел только показать, что при таких отдаленных поездках по книжной части странно было бы мне не исходить вдоль и поперек более близкие книжные пажити.

Не умею сказать в точности, 12 или 11, или уж и 13 лет было мне, когда я принялся читать Минеи-Четиих, — заглавие, которое тогда мне казалось понятным, потому что я знал по-славянски не лучше их составителя, думавшего, что он пишет по-славянски, а

в последствии времени оказавшееся для меня непостижимым ни на каком языке индо-европейского племени: «Четтих» слово решительно невозможное ни в какой из славянских грамматик, а оно очевидно хочет быть славянским, — итак, Миней-Четтих, неправильно называемые попросту Четь-Минейми, что по старинному русскому языку понятно и правильно, но ни для меня тогда, ни для кого из разговаривающих о них со времени составления доныне всегда было непонятно.

Я находил в этих Четь-Минейх одно огорчение себе: они слишком коротки. В них беспрестанно ссылки такого рода: это здесь рассказывается вкратце, а подробно зри в Макариевской Четь-Минее. Ах, как мне хотелось бы читать Макариевскую Четь-Минейю! Но этот громадный сборник — увы! — остается рукописью и лежит в Новгороде, Москве, может быть еще в Петербурге, — и даже ни в одном из этих городов нет полного списка. Когда я стал жить в Петербурге, я уже знал, что мог бы удовлетворить своему стремлению к Макариевской Четь-Минее даже гораздо полнее, чем чтением ее самой: Румянцевский музей и Публичная библиотека богаты произведениями, из которых только уже извлечение поместилось в Макариевской Четь-Минее, которые превосходят богатством своим Макариевскую Четь-Минейю еще в гораздо большей пропорции, чем она превосходит нашу печатную, — я бывал и в Публичной библиотеке и в Румянцевском музее, но мне тогда уже было не 11, 12, а 19, 20 лет, — и я не дотронулся ни до одного из этих сборников.

«Восемь лет прошло между теми и этими годами, от 12 лет до 20, еще бы не перемениться человеку!» — Так, но в этом я несколько не изменился, — теперь прошло еще 15 лет, и я остался совершенно с теми же пристрастиями в этом отношении, с какими был в 12 лет. Вот, и теперь, например, — у меня лежат три серьезные сочинения, очень любопытные, до того любопытные мне, что я принялся за все три разом — так и тянуло к каждому, — третьего дня мне принесли пять томов Диккенса, которых я еще не читал. — Что ж? — все три ученые произведения перенесли со стола, у которого, и с кровати, на которой я читаю, на окно, — меня угрызает совесть, мне стыдно за себя, — по пяти раз в день я собираюсь возвратить хоть одно из ученых произведений из его ссылок, — нет! — предвижу, что пролежать им на окне, пока не дочитаю Диккенса. И сколько убытку делает он мне! — ученые произведения я читал для отдыха от работы, — а теперь ленюсь, ленюсь работать, — давно уж отдохнул, а все еще лежу с Диккенсом в руках. Милый он, трудно оторваться от него. А я, угрызаясь совестью за леность в работе из-за него, твержу себе: «а ведь, однако же, то, что было в детстве, еще сильнее стало во мне в молодости, и с той поры не ослабело, остается до сих пор. Авось и в старике во мне сохранится все то хорошее, что было в юноше».

«Так вот что? Будто, только?» — Только-с; только, и не спешите верить тем, кто говорит про себя, что не только: сто веро-

ятностей против одной, они лишь не умеют разобрать себя. И решительно не верьте тем, кто говорит про большинство людей, что не только, — не понимают они людей, врут они, это положительно.

Поэзия. Когда я не умел читать французских книг, я любил читать в тогдашних «Отечественных записках» переводы романов Жоржа Занда. Теперь читать их было бы для меня положительно неприятностью. Долго после я продолжал любить русские переводы Диккенса, — и к [ним] стал в то же отношение, когда выучился читать книги по-английски. Ослабела ли моя любовь к Жоржу Занду, к Диккенсу? Нет, нисколько; но они стали доступны в настоящей своей форме, и я бросил форму, в которой одной мог знать их прежде, — в которой красоты сильно сгладились, смазались, в которой все отразилось не совсем так, многое вовсе не так.

Я знал чуть не все лирические пьесы Лермонтова.

Я читал с восхищением «Монастырку» Погорельского; она показалась мне очень скучновата и плоховата, когда потом попала в руки около того времени, как я восхищался «Обыкновенною историею»; я до сих пор прочел полторы из четырех частей «Обломова» и не полагаю, чтобы прочитал когда-нибудь остальные две с половиною, — разве опять примусь [за] рецензии, тогда поневоле прочту и буду хвалиться этим, как подвигом.

Что следует из первой истории, случившейся относительно Диккенса и Жоржа Занда? Только то, что способы мои к удовлетворению известного моего влечения расширились. Что следует из судьбы, постигшей в моей жизни сначала «Монастырку», а потом не сжалившейся и над красотами «Обломова»? Только то, что мой вкус, благодаря отчасти ходу органического моего развития от ребячества к совершеннолетию, отчасти расширению моих средств удовлетворять ему, стал тоньше, разборчивее. Но поэзию я люблю не меньше, чем когда-нибудь любил.

Вот еще любопытное обстоятельство. У нас была особая книжка, содержащая в себе службу Варваре великомученице, и в виде вступления подробное житие ее. Мне не хотелось читать его в этой книге. А само по себе оно было интересно для меня. В Четь-Минее я прочел его с любопытством и с убеждением, что в особой книжке оно еще любопытнее, потому что подробнее. А в особой книжке все-таки не прочел его. Почему? Тогда не думал об этом, а теперь вижу, почему: книжка была в сафьянном переплете, с золотым обрезом, с золотым тиснением на крышках переплета, — не любил я ее за это, она возбуждала этим впечатление, что претендует быть не простою книгою, как все другие, хочет, чтобы ее читали, как читает Матвей Иванович. Нет, это не мое, — то-есть нашего семейства, — чтение.

Когда я достиг удовольствия читать Четь-Минее, я достиг этого уже благодаря сану своего батюшки в саратовском церковном мире. Ни у нас, ни у кого из наших знакомых не находил я Четь-Минее. И в нашей церкви не было ее. Была она тогда только в одной церкви, Сретенской, да и то не старое издание в лист, по

три месяца в томе, а новое, в 8-ую долю, по одному месяцу в томе, — я попросил, сретенские дьячки стали носить мне том за томом, заходя к моему батюшке по делам. Но вы не думайте, что в этом сущность дела, — это одолжение было милое одолжение, но что ж в нем важного? — важность в другом. С незапамятных для меня времен на том шкапе, где на верхних полочках стояли чайные чашки, лежала огромная книга. Я был еще юн и мал, чтобы рискнуть стащить посмотреть эту книгу, — потянешься за нею, став на стуле, перебьешь чашки, и дожил я таким манером лет до 9, уже года два роясь в книгах, доступных моим рукам, — а этой книги все еще не случилось узнать, что она, за книга. Вот, однажды зимою, вечером, бабушка, позевавши много и долго, вдруг напала на мысль: «Марья! (или «Федора!») Сними-ка вот большую книгу-то со шкапа да выбей пыль из нее». — Марья или Федора исполнила все, принесла выбитую книгу. «Давайте-ко, дети, читать, это Четь-Миней». Старшая моя кузина стала читать. Бабушке понравилось. И на другой вечер стали читать. Читали, читали сестра (то-есть кузина) и я, долго ли, коротко ли находила бабушка приятным это препровождение времени, — но только чтение наше, постепенно сокращаясь в размере приемов и растягиваясь в рассрочках между приемами, замерло через несколько недель ли, или месяцев, этого не умею припомнить, но только твердо помню, что на половине пятого числа месяца, которым начинался трехмесячный том, — то-есть прочли мы страниц 50, 60, или и меньше, если переложить тот формат на журнальный, для понятности. И лежала эта книга с закладкою на половине пятого числа, пока увидела ее сестра бабушки, Анна Ивановна, и сказала, что возьмет ее к себе. — «Возьми, Аннушка», сказала [бабушка], — видно, уже твердо убедилась, что у нас с нею закладка не додвинется до 6-го числа. Анна Ивановна, бездетная вдова, жила одна; поэтому я не сомневаюсь, что она додвигала закладку гораздо дальше, — быть может, числа до 15-го, а то и 20-го; подкреплением такого мнения служит то, что я довольно долго — чуть ли не до самой весны — видел книгу лежащею у Анны Ивановны на одном из столов. Но, с другой стороны, представляется и вот какое обстоятельство: после перенесения книг с нашего шкапа на один из наших столов бабушка несколько времени упоминала иногда о Филарете Милостивом, — житие его было самое первое в нашей книге и единственное интересное из прочитанных нами, — правда, упоминания были так нечасты, что я теперь уж ничего не припомню из него, но все-таки были, а от Анны Ивановны не случилось мне услышать ничего почерпнутого из книги, несмотря на то, что она проводила у нас третью часть своего времени. Итак, было бы оснований подозревать, что она еще меньше нас с бабушкою углублялась в книгу, — но я готов думать, что все-таки сколько-нибудь прочла же она в ней.

А все-таки скоро стало ясно, что книга даром лежит у нее на столе. Через несколько времени я увидел книгу вознесшеюся у ней на шкап, подобный тому, с какого снеслась она к нам, и [она]

возобновила на новом месте прежнюю безмятежную жизнь. Теперь представляется вопрос: почему я, вздумав читать Четь-Минею, не спросил у Анны Ивановны книгу, которая не была нужна ей, а ждал, пока добудется чужой экземпляр? — А этот самый вопрос и напомнил мне, по какому случаю выражено было мною желание читать Четь-Минею. Батюшка писал свои деловые бумаги, я стоял подле и пересматривал каталог синодальной книжной лавки, ежегодно присылавшийся официальным путем к батюшке для справок при официальном требовании книг для церквей. Я тогда уже любил просматривать каталоги. Много было завлекательного в этом каталоге: книги на грузинском, на армянском языках, с заглавиями, напечатанными грузинским, армянским шрифтом, — я любил неизвестные шрифты, — и задумался: что, если бы иметь такие книги? — попросить папеньку купить? — Соблазняла эта мысль, — но все-таки холодный рассудок победил: да как же покупать книги, прочесть которые не умеешь и не можешь ни у кого выучиться? — и я продолжал пересматривать каталог, — а понятие «купить» то-сковало, оставшись одно без предмета для себя, — вдруг: «Папенька, купите Четь-Минею». — Папенька положил перо и со словами, «кажется, не по нашим деньгам, миленький сыночек» — это было его обыкновенное название мне, — взял у меня из рук каталог: «дорого, миленький сыночек (точно, Четь-Минея стояла более 100 р. ассигнациями, более 30 руб. сер.), — а если тебе хочется почитать ее, так она, кажется, есть в какой-то церкви, — да, в Сретенской, — спросим, ведь никому же там не нужна, — пожалуй, почитай». — Из этого ясно, что я почти что напросился с ковшом на брагу, — фраза, засевшая в голову по случаю грузинского и армянского шрифтов, сорвалась с языка в неожиданном для меня самого виде просьбы о покупке Четь-Минеи, — но ворочаться назад было поздно, и я стал получать том за томом. — Впрочем, разумеется, неожиданное испрошение книги, о которой не думал за две минуты перед тем, не было неприятностью для меня — напротив. Я очень долго читал решительно все, что попадалось под руку, — так долго, что у меня осталось в памяти, какая именно книга была первая книга, которую я не стал читать, как незанимательную, — это факт замечательный по характеру книги, и я скажу о нем подробно в своем месте. Я не помню, сколько именно лет было мне, когда он случился, вероятно лет 13; но вижу по его обстановке, что он случился после периода чтения Четь-Минеи. А до него я читал решительно все, даже ту «Астрономию» Перевощикова, которая напечатана в четвертку и в которой на каждую строку, составленную из слов, приходится чуть не страница интегральных формул.

Не похваюсь, что я прочел всю эту Астрономию сплошь, — слишком уж ясно было мне, что я не понимаю в ней ни слова, и я все пробовал в разных местах, не наткнулся ли на такие строки, которые бы понял. Но все-таки я читал ее очень много. Впрочем, в Четь-Минее я прочитывал гораздо большую пропорцию из каждой сотни страниц, чем в книге, состоящей исключительно из

интегральных формул, полагаю, что половину. Но я совершенно пропускал проповеди и краткие жития, читал исключительно только длинные, состоящие из ряда отдельных сцен, рассказанных вообще с беллетристической обстоятельностью или с анекдотической живостью. Это читалось легко и с удовольствием.

Не скажу, чтобы из этого чтения забыл я теперь многое, что помнилось через полгода после него. А теперь я почти ничего не помню из него. В 15, в 14 лет — почти не больше [помнил]. То, что я помню теперь из житий святых, запомнилось из чтения других книг, имевшего уже собственно ученическую цель: я [читал] издававшиеся духовными академиями духовные журналы уже как семинарист, отыскивая примеры, доводы для писания задаваемых профессором [тем]. От этого чтения по ученической надобности довольно много удержалось в памяти. От прежнего добровольного чтения Четь-Миней — почти ничего. Оно проскользнуло через мысли почти бесследно. Раз — все в ту же поездку, один случай из которой я уже рассказал — мы довольно долго сидели на станции, где расположились пить чай, я увидел на окне Четь-Минею, стал пересматривать, — даже этот пересмотр не воскрешал ни одного воспоминания из прежнего чтения.

Но если Четь-Минее читаемая скользнула так легко по фантазии ребенка, то не могли же не запасть в памяти гораздо прочнее те рассказы из Четь-Миней, которые я слышал в живом разговоре? Да, они вошли в память, и так прочно, что я до сих пор помню все их. Несколько раз я слышал отрывочные, но связанные в этой выдержке события из жития Евстафия Плакиды. Слышанное мною было вот что. Евстафий Плакида, важный чиновник, — военный, — переправлялся с своим семейством вброд через реку. Семейство состояло из жены и двух маленьких сыновей. Он взял одного из детей и перенес на другой берег. Вернулся, взял и понес другого сына. Дошедши до середины реки, он услышал крик жены, оставшейся на прежнем берегу, — на нее напали разбойники. Он поспешно вернулся спасать; но когда вышел на берег, разбойники уже скакали довольно далеко с похищенною женщиною. Он побежал за ними, посадив сына на берег, — не догнал; возвращался, был уже недалеко от реки, когда с другого берега сын, уже перенесенный, закричал: к нему приближался лев. Отец бросился спасать этого сына, забыв о другом, еще не перенесенном, — но лев уже унес ребенка, когда отец выходил на берег; теперь послышался с прежнего берега крик другого сына, — к нему приближался медведь и также унес его прежде, чем отец поспел на помощь. В отчаянии Плакида углубился в пустыню и много лет прожил, не видя людей: ему было тяжело смотреть на людей, когда он потерял всех людей, ему милых. Через много лет он соскучился о людях и пошел в город. Там сел он отдохнуть на улице у лавки, в тени, — день был знойный. В лавке сидела женщина. Также пришли отдохнуть в тени, — сначала один молодой офицер, потом другой. Офицеры разговорились между собою. Одному вздумалось

спросить у другого, кто его родные. «У меня нет родных», — отвечал его новый знакомый. — «Как странно — и у меня тоже. Царь, выехавши на охоту, отбил меня у льва». — «Как странно! — точно так же и меня отбил царь на охоте, только не у льва, а у медведя». — «Вы братья, вы мои дети!» — вскричал Плакида, бросаясь обнимать их. Внимание женщины, сидевшей в лавке, было привлечено радостными восклицаниями, — она всмотрелась в отца, обнимающего детей, и узнала в нем мужа: разбойники, проехав с нею несколько верст, были пойманы полицией, и она освобождена. Как бог милостив! — сохранил всех их и привел всех в одно место, в одно время, чтобы они узнали друг друга. Плакида получил должность еще лучше прежней, — он был и прежде генерал; и хороший генерал, искусный в войне, и царь очень жалел, что он куда-то исчезал, а теперь Плакида опять явился к нему. Разумеется, бог был так милостив к нему, его жене и детям, потому что все они были хорошие люди.

Если вы даже и меньше, чем я, знаете и помните подлинный рассказ, все равно, вы не можете не знать, что он имеет характер гораздо более определенный, чем эта выдержка из него; все специальное мотивирование событий, все особенное, чем приведена развязка, оставлено без внимания; вы чувствуете, что и развязка не совсем верна: Евстафий и его жена становятся людьми, занимающими в свете положение еще выше прежнего, и возобновляют светскую жизнь. Чувствуете ли вы, что в рассказах, мною слышанных, взяты только черты внешней занимательности, а дух подлинника совершенно потерялся в нем, — что рассказывавшие были заинтересованы только анекдотическою стороною подлинника и совершенно не поняли его духа? Мои рассказчики обнаруживают своим рассказом, что сфера жизни, которую изображает подлинник, так же чужда их чувствам, так же неуловима их понятиям, как поэзия Байрона была непонятна нашим его подражателям, — да, моя бабушка, Анна Ивановна и наша служанка Марья Акимовна, от которых от всех трех я слышал этот рассказ, все показали себя людьми, не лучше Пушкина разумевшими то, с чем по их (и его) мнению они (он) знакомили (знакомил) свою публику.

От бабушки и Анны Ивановны больше ничего я не слышал в этом роде. Но в разговорах Марьи Акимовны случилось мне однажды слышать еще один рассказ, о котором я не могу сказать, чтоб я и теперь отчасти не сочувствовал ему. Вот он.

Святой, проходя по улице города, увидел толпу народа, слушавшего уличного музыканта, — святой сотворил мысленно молитву, очи его отверзлись, и он увидел подле музыканта беса; кто-то из толпы бросил музыканту монету, музыкант положил ее в карман, — бес взял монету и полетел с нею в ад к сатане. «Вот, мой слуга выработал дань тебе от людей». — «Хорошо, — сказал сатана, — точно, эту дань мне дал тот, кто дал ему монету, стал моим подданным. Хорошо». Бес с похвалою от своего властителя возвратился к музыканту и положил опять в карман ему монету. Все

это сделалось в одну минуту. — «Вот что такое эти увеселения. Дань сатане».

В этом рассказе выражается ультра-пуританский взгляд на жизнь, и с известной стороны, до известной степени, в известном направлении [я] действительно разделяю его, — с какой, до какой, в каком — объяснить об этом еще будут случаи — пока довольно сказать, что для меня он не пустой анекдот — здесь пока дело не о том, какое отношение он имеет к моей действительной жизни, а о том, насколько он имел какое-нибудь действительное значение для лица, которому я обязан знакомством с ним.

Марья Акимовна была служанкою в моем семействе в первые годы нашей жизни в Петербурге. В 1854 году мы переменили квартиру. Жене моей очень понравилась квартира в доме Диллинг-гаузена в Хлебном переулке, у Владимирской; но она затруднялась одним: кухня — в подвальном этаже, значит будет сырая; дурно для прислуги. Узнав об этом, Марья [Акимовна] просила жену нисколько не считать этого неудобством. Хорошо, мы взяли квартиру. И точно, оказалось, что помещение кухни в подвальном этаже не есть неудобство для Марьи Акимовны, напротив. Сырость помещения с избытком вознаграждалась тем, что Марья Акимовна могла уже не стесняться там, что что-нибудь делающееся в кухне будет мешать нам. Каждый день, с семи часов до глубокой ночи, у Марьи Акимовны была неумолчная музыка. Сначала только гармоника, потом и гитары, и скрипки, и всякие сподручные кимбалы раздавались решительно в нашей кухне, и большею частью мы тогда засыпали, напутствуемые звуками этого оркестра и этих соло. — Марья Акимовна была хорошая женщина; но у ней была дочь, уже взрослая девушка невеста; Марья Акимовна была строгая, — даже слишком строгая мать, съела бы дочь за малейшее замеченное уклонение от нравственности. Но видите, она ровно столько считала музыку и танцы греховным или безнравственным делом, сколько самая усердная светская любительница балов, и очень немногие из самых усердных светских матерей так изобильно доставляют дочерям это невинное удовольствие, как она: у ней семь раз в неделю был вечер с музыкою и танцами.

А как же рассказ-то о музыканте, монете и бесе? — Я не спросил ее об этом, — и не спросил, полагаю, не столько по нежеланию ставить ее в затруднение, сколько потому, что уж слишком большую тупость ума засвидетельствовал бы я в себе, если бы видел тут что-нибудь требующее объяснения. Мало ли какие анекдоты случается рассказывать каждому из нас, смертных, и чувствовать некоторое влечение к тому анекдоту, который рассказываешь? Мимолетная игра фантазии, — неужели она к чему-нибудь обязывает? Неужели мы, простые обыкновенные люди, можем так жить, чтобы в наши разговоры не попадали вещи, в сущности незначительные для нас? Сколько раз мне, например, приходилось выражать свое мнение о том, хорошая ли танцовщица г-жа Богданова. А я никогда не видел, как танцует г-жа Богданова. Неужели же

справедлив бы был тот, кто придрался бы ко мне из-за [этого] с таким назиданием: «Вы соглашаетесь, милостивый государь, что г-жа Богданова танцует превосходно; как же вы не ездите на балеты, в которых она танцует?» — «Милостивый государь, — возразил бы я такому господину, — пощадите род человеческий. Ведь если каждый из нас говорил бы только о том, что глубоко интересуется [его], то, во-первых, разговоры между людьми были бы так редки, что люди разучились бы говорить; во-вторых, люди [стали] бы невыносимо скучны друг другу, и жизнь была бы театральнойшею нелепостью».

Напрягая все силы воспоминания, чтобы уменьшить скудость этой стороны моих детских впечатлений, я решительно не отыскиваю ничего идущего к предмету, кроме одной частички одного разговора. Сидела у бабушки одна из ее посетительниц, тоже старушка, Авдотья Яковлевна, о которой еще придется мне упоминать. Толковали о разных страшных людях и приключениях — ворах, разбойниках, убийствах и самоубийствах. Увлечшись предметом, Авдотья Яковлевна выразила мнение, что кроме всех других злодеев, есть на свете и фармазоны. Бабушка подтвердила это, — фармазоны действительно ужасные люди, но в чем их фармазонство, этого не случалось ей узнать.

«Вот в чем оно, — отвечала Авдотья Яковлевна: — я вам скажу случай. Был барин, и жил у него лакей наемный. Барин был богатый, и человек веселый; и добрый к лакею. Только, много лет проживши у него, лакей стал видеть, что барин начал тосковать, — не по своему характеру. «Что вы, сударь, тоскуете?» — «Так», говорит. Все больше и больше тоскует. Только в один вечер лакей раздевает его, — спать укладывает, — барин стал с ним прощаться — «прости, говорит, коль я в чем тебя обидел, а вот тебе награда за верную службу и твою любовь», — и дает ему двести ли, триста ли целковых. — «Что это вы, сударь? будто не чаете до завтраго дожить, а болезни в вас я не вижу никакой». — «Не от болезни, говорит барин, а срок мой пришел, — прослезился, — приходи, говорит, через час посмотреть, что от меня останется, раньше не смей, нельзя, а через час приходи». Пришел лакей через час в спальню, а среди спальни куча золы лежит, — только [и] осталось от барина; а пол цел, не тронуло огнем. Вот что фармазоны, Пелагея Ивановна. Это фармазон был. Они душу продают чорту, он содержит в богатстве, сколько там лет условились. А кончились года, пришел срок чорту брать душу, фармазон огнем загорится и сгорит весь, только зола останется».

«Так вот они какие, фармазоны-то, — сказала бабушка, — а я и не знала; только говорят все «фармазоны», «фармазоны», а сами тоже не знают, что за фармазоны».

После этого разговор опять перешел к предметам более известным.

Сколько я теперь знаю, Авдотья Яковлевна была сообщительницей мнения, которое действительно существует в низших слоях

среднего класса, в городских слоях простонародья. Но об анекдоте, которым олицетворилось это мнение в ее рассказе, я должен [сделать] такое же невыгодное суждение, как о рассказе про чертей, раздающих золото в пещере подле Саратова.

Рассказ Авдотьи Яковлевны носит на себе печать полнейшего незнакомства с той областью понятий, знакомить с которою претендует. Человек, продавший душу чорту — остается хороший; в нем даже незаметно ничего особенного; он даже не кутит, не пьянствует, не развратничает, — рассказ не понимает, что это необходимо, что этого человека мучит совесть, терзает страх, что он должен искать забвения, и как бы добр ни был он прежде, в его мыслях и поступках должны высказываться дьявольские черты, когда он продал душу чорту. Рассказ совершенно не знает, что такое продать душу чорту, какие люди продают ее, как они живут. Он даже не знает, что у чорта нет счета деньгам, что продающие ему душу делаютя обладателями изумительнейших богатств, блистательного великолепия — нет, барин живет в достатке, только. Рассказ не понимает, что из-за простого достатка никогда не продается душа чорту — для этого чортовская помощь не нужна.

И вот общий вывод из всего моего припоминания соприкосновений моего детства с средневековым романтизмом: этих соприкосновений было очень мало, и все они были ничтожны. Из сотен людей, которые часто бывали у меня на глазах, только двое были представителями этого направления. Один из них даже и не был фанатиком, а только делал странности, по своему деревенскому беспомощному незнанию; другой считался глупцом и настолько дурным человеком, насколько было в нем средневекового романтизма; оба они слышали выговоры со стороны тех из близких, которые занимались ими от безделья и скуки, оба чувствовали себя очень робко и плоховато перед другими близкими мне; из близких мне людей никто не имел ни малейшей не то что наклонности, даже снисходительности к мистицизму, и вся жизнь их была так чужда его, что даже в их разговорах, в которых ежедневно слышалось обо всем на свете, не попадалось ровно ничего, относящегося к этому; из бесчисленных знакомых также не было никого сколько-нибудь способного хоть вскользь касаться этого направления, и в течение лет десятка, впечатления которых я перебираю теперь (лет с 4 до 14, когда я поступил в семинарию), я вспоминаю только анекдот, лишившийся своего колорита в слышанных мною пересказах, да другой маленький анекдот, опровергавшийся характером и жизнью женщины, которой случилось как-то раз вспомнить о нем, да другой анекдот, показывающий совершенное незнакомство рассказчицы с своим предметом. — Вот и все, и тут бы мог я кончить эту материю, если бы не был охотник предвидеть возражения и, что еще важнее, не был научен многолетним опытом, что самая простая и очевидная мысль нуждается в многочисленных пояснениях и оговорах, — иначе или не будет вовсе понята, или поймется, как говорилось у нас в Саратове, шиворот навыворот.

Сначала возражения и оговорки. Не думал ли я говорить, что в обществе, среди которого я вырос, было мало невежества, пред-
рассудков, суеверия? Нимало не думал: были целые кучи, груды,
горы всякого этого материала. — Если бы захотеть делать эффекты,
рисовать картины, поражающие мрачностью дикости, а не думать
о том, до какой степени соответствовали бы они колориту действи-
тельной жизни, можно бы разрисовать. Пожалуй, попробуем: если
кому правда не кажется верна истине, пусть утешится, — начнем
говорить в его угоду.

У нашего кучера, Данилы Ивановича, дядя был запарен
в бане чертями. После него кучером нашим был Павел (не помню,
как по отчеству) — знахарь, пользовавшийся большою известно-
стью. К Прасковье Ивановне, нерусалимке, — я упоминал о ней,
после скажу больше, — подходил чорт, когда она шла к заутрене,
и издевался над нею. Это личные знакомства моих знакомых с чер-
тями. Вероятно, можно бы припомнить еще два-три таких случая.
Но довольно и этих — ясно, черти были не редкостью вокруг моего
детства. — Или говорить о других суевериях? Стоит ли? — Я жил
среди наших русских людей, можете смело повторить в уме все,
что вы знаете о русских суевериях, — и я вперед говорю: да, все
это было в окружавших меня или взамен этого было другое, точно
такое же. — Или от суеверий обратиться к предрассудкам? — Жиды,
лютеры, католики, раскольники — все это известно было с той са-
мой стороны, с какой известно было испанской инквизиции, —
разница воззрений была только в том, что теория, относившаяся
в Саратове к «католикам», относилась испанскою инквизициею
к «схизматикам», — остальное все было слово в слово. Можете дать
разгул воображению.

Да что воображению? бывали и дела. Около 1830 года — ве-
роятно, пораньше, но рассказы были еще свежи в начале моего
детства, — явился в селе Копенах злодей, корчивший из себя спаса-
теля душ¹¹. Убеждал, убеждал и убедил: семейств двадцать, если
не больше, нагрузили все свои пожитки на телеги и поехали обозом.
Приехали, — где-то за селом к овину или к риге, — и началось спа-
сение душ, приобретение венцов мученических: положена была
плаха, — они затем и ехали, — у плахи стал с топором злодей, не-
счастные подходили, один за другим, одна за другою, клали го-
лову на плаху, — наставник отрубал голову, следующие искатели
спасения относили в сторону тела и головы и ложились в свою
очередь для принятия венца мученического. Нескольким десяткам
человек злодей дал венец мученический и уехал с телегами.

Что это такое? Этого не видел ни Бенарес, ни Джагарнат, та-
ких жертвоприношений не получали Шива и Бахвани¹². В Индии
приносят себя в жертву отдельные люди, только передовые люди
геройского фанатизма, — у нас, в Саратовской губернии, одно село
в несколько недель, может быть дней, выставило в одну сцену,
дало массу охотников, какая в десять лет собирается со всей
Индии.

«Население, в котором могло совершиться подобное событие, имеет право назваться одним из суевернейших, фанатичнейших на земном шаре».

Если кто сделает такое размышление, я не имею ничего возразить. Оно очень похоже на правду. Оно, может быть, чистая правда. Я не жил в Бенаресе, я не посещал праздников джагартских, — я не могу до тонкости сравнивать гиндусов и саратовцев, — не могу поручиться за саратовцев, быть может, и суевернее гиндусов. Я только говорю, каковы саратовцы сами по себе, безотносительно, — а по сравнению с другими людьми, быть может, они фанатичнейший из народов и племён и поколений всех стран и веков.

Я даже расположен думать это. История, рассказы путешественников, но особенно история, — о, об этом у меня есть своя теория, которая одним из своих оснований имеет и мое личное знакомство с обыденною жизнью массы, — а значительная доля этого знакомства приобретена мною еще в детстве, — поэтому не познакомить ли вас здесь с моею теориею истории?

Я всегда готов на услуги, которых от меня не ждут, — вы не ждали, что в мою автобиографию войдет извлечение из книги, написанной по бумагам английского главнокомандующего в Крыму, лорда Раглана, в которых, вероятно, ничего не упоминается ни обо мне ни даже о целом Саратове? — А вот увидите же, как плотно войдет.

Знаете ли вы, что такое Крымская война? — спрошу я вас: какой характер имели столкновения, из которых она возникла, какими силами она была вызвана? — Как не знать, отвечаете вы: державы боролись из-за преобладающего влияния в Константинополе, императору французов нужно было приобрести себе славу, — потому дипломатические ссоры не уладились дипломатически, как без того было бы, а превратились в сражения и осады. — Это не важность, отвечаю я вам, — война была порождением религиозного энтузиазма нашего русского населения. — Вы разеваете рот. Вы жили в то время среди русского населения, вы помните, что до битв на Дунае оно ровно ничего и не знало о том, готовится ли война; о войне на Дунае оно стало слышать, но очень мало интересовалось ею, желало, чтобы она поскорее кончилась, чтобы ему не подвергнуться обременительным пожертвованиям; но, думая в пользу мира, все еще очень мало думало об этих делах и очень мало знало о них. Узнало и стало много думать, когда потребовались громадные жертвы на оборону Севастополя, и тогда сильно пожелало мира. Вы это помните, но я говорю противное и доказываю, что вы ошибаетесь. Извольте слушать, что говорит история.

Неприятности начались, как известно, из-за притязаний Франции несколько расширить участие католического духовенства в хранении некоторых из святых мест Палестины. История, беспристрастная к обеим нациям и правительствам и к обоим исповеданиям, признает справедливость в этом споре за русскими.

«Мы ошиблись бы, предположив возможность хотя тени сравнения (it would be wrong [to suppose that there was] any approach to an equality — видите, как сильно и по-английски) по силе и искренности чувств между правительствами, вступавшими в спор по этому вопросу. В греческой церкви пилигримствование считается делом столь важным, что если у семейства есть деньги для путешествия в Палестину, — это семейство, хотя бы жило в отдаленнейших от нее областях России, не чувствует в себе спокойствия за искренность своего благочестия (they can scarcely remain in the sensation of being truly devout), если не предпримет святого подвига, и на него радостно посвящаются плоды бережливости и труда, собираемые во все цветущие годы жизни. Такое далекое путешествие с скудными средствами поселянина совершается не без лишений, столь тяжелых, что от них многие умирают. Эта опасность не устрашает честный, набожный народ севера. В награду за этот трудный подвиг священники этого народа именем неба обещают неизреченные блага. Блаженство, им заслуживаемое, не обуславливается волею, побуждениями паломника, оно нисходит и на детей, подобно благодатному действию крещения. Император русский, стараясь приобрести или сохранить для своей церкви святые места Палестины, говорит как выразитель мнения (spoke on behalf) пятидесяти миллионов честных и храбрых набожных подданных, из которых тысячи готовы были радостно рисковать жизнью (would joyfully risk their lives) за это дело. От крепостного мужика в его избушке и до самого царя, у всех убеждение это действительно было пламенным убеждением сердца (really glowing), неодолимо направляющим их волю (violently swaying)».

Следовательно, продолжает история... Но вы протираете глаза и говорите: «дайте мне прежде очнуться, я будто что-то грезил и, должно быть, вздремнул». — Нет-с, вы не грезили, вы читали историю. «Но это»... — Прошу не возражать, извольте молчать, — это история, а вы невежда, когда смеее говорить, что вы этого не знаете. Назидайтесь же, и уж без возражений, до конца, — когда кончу, разрешу уста ваши, а теперь извольте слушать — я только буду замечать, что и по-моему будет правда, чтобы успокоивать ваши чувства охотным предоставлением остального на волю вашим замечаниям.

Итак, продолжает история, дипломаты Европы должны были бы смотреть с уважением на чувства русского народа (это правда). — В католической церкви путешествие к святым местам в Палестине развито несравненно меньше, чем в греческой (это правда), и претензии французского правительства по этому предмету нисколько не выражали чувств французской нации (правда). А оно предъявило притязания, — это было вовсе нехорошо (правда). Но вы не только сам не знаете, не найдете, — где бы в России вы ни жили, хоть бы между Москвою и Петербургом, — на 1 000 верст кругом ни одного человека, который помнил бы, в чем собственно был спор. О правах участия духовенства нашего и ка-

толического в охранении святых мест в Палестине, — но каких же? и в каком же размере была разница величины участия, требуемого спорившими? — Это никто не знает теперь, через десять лет, это уже знает только история. Вот что такое говорит она, и говорит правду:

«Спор был о том, должны ли латинские монахи иметь ключ от главных дверей Вифлеемской церкви и по одному из ключей от двух боковых дверей. Они также требовали права служить однажды в год в приделе богородицы в Гефсиманской церкви. Но существенным затруднением было именно их требование иметь ключ от главных дверей Вифлеемской церкви, между тем как прежде они имели ключ только от боковых дверей ее».

Это правда. Итак, спор не относился к главному месту поклонения, к церкви гроба господня. Спор собственно относился только к одному из многочисленных святых мест палестинских, важность которых и всех вместе взятых далеко не равняется в сердцах наших паломников важности церкви гроба господня; и спор по поводу одного из этих многих святых мест не состоял в том, чтобы одно из исповеданий было исключено из такого святого места, которое прежде было доступно ему, или получило доступ к такому святому месту, которое прежде было исключительно в руках другого исповедания, — нет, это место было доступно обоим исповеданиям и прежде, должно было оставаться доступно обоим; в этом не было разногласия; не предполагалось изменения требованиями ни того, ни другого из споривших исповеданий; изменение относилось только к размеру пользования одним из входов в это святое место.

Кроме этого побуждения к войне, у русского народа было и другое, продолжает история:

«Пятьдесят миллионов человек в России исповедуют одну веру и исповедуют ее с тою горячностью, какую некогда имела Западная Европа. Все свои войны Россия вела с народами не своей веры, и два раза, когда национальная жизнь умирала, когда всякая другая надежда исчезла, она была спасена воинственным усердием своего духовенства. Поэтому любовь к родине и преданность церкви так тесно слились в одно всеобъемлющее чувство, что русские не могут отделять одного из этих понятий от другого, и хотя они по природе племя кроткое и добродушное, но они воспаляются, когда дело коснется их веры». — Вот поэтому русский народ всегда очень желал, — то-есть тот русский народ, которого 50 миллионов, — эти 50 миллионов желали очень давно и очень горячо взять Константинополь и истребить турок, — *extirpate the Turks*, — «на горизонте набожной массы виделся купол св. Софии», — говорит история. Поэтому, продолжает она, русский царь, глава церкви, имел обязанности, которые ему необходимо было исполнять, потому что «хотя русский народ прост и послушен, но религиозный дух обширной империи пришел бы в опасное волнение», если бы правительство не удовлетворило его ожиданиям в этом отноше-

нии. Русское правительство действовало под тяготением этого напора стремлений массы. И началась «война за веру», по мнению «массы русского населения», когда наши войска вступили в дунайские княжества.

Все это подтверждает история документами и ссылками на ученые исследования, так что не остается места сомнению: депеши, прокламации, манифесты, проповеди, свидетельства самих действовавших лиц, — все ведет к тому взгляду, с которым я вас познакомил. Конечно, ведет, иначе история и не приняла бы его, потому что она беспристрастна и ищет только истины.

Кроме шуток, книга, из которой я сделал выписки, очень беспристрастна и основательна; нет никакого сомнения, что эта книга, «The Invasion of Crimea, by Kinglake», надолго останется одним из драгоценнейших и надежнейших источников для людей, которые будут писать о предмете, ею излагаемом¹³.

Но что ж это такое наконец? — Я думаю, вот что: это не «История Крымской войны», как она скромно называет себя, а история и Крымской войны, и религиозных смут Англии, и гугенотских волнений во Франции, и всего относящегося к реформации во всей Западной Европе, и всего относящегося к инквизиции, и альбигойских войн, и крестовых походов и так дальше, — я знал, что в Саратове жизнь была вот какова с известной стороны; история открывает мне, что мои современники саратовцы, представители самого крайнего развития этой стороны, превосходят в нем все народы Западной Европы и могут быть сравнены только с народами средневековой поры энтузиазма; я совершенно соглашусь.

Что следует из этого, вероятно еще придется вам читать на многих страницах следующих моих эпизодов и всяких рассуждений обо всем на свете.

Убедившись, что саратовцы, среди которых я вырос и тенденции которых совершенно разделял в моем детстве, были такие удивительные люди, непременно хотевшие завоевать Константинополь, видевшие на своем горизонте купол св. Софии, я прихожу отчасти даже в сомнение, точно ли я был в моем детстве такой человек, каким помню себя, а не такой, каким познаю себя (вместе с остальными саратовцами) в истории. Неужели, в самом деле, на моем «горизонте» «виделись» Соколова гора с одной стороны, Лысая гора — с другой, Увекская или, как у нас зовут, Увецкая гора — с третьей, Волга — с четвертой, а не что-либо иное?

Я думаю об этом долго и серьезно, потому что вопрос, который пишу я в шутливой форме, вопрос такой, что при ответе на него, какой я считаю справедливым, действительно надобно сызнова писать всю среднюю и новую историю, — чего еще не сделано и даже еще почти не начато, — и надобно сделать еще многое другое. Но нет, память не обманывает меня, — жизнь моего [детства] действительно почти не имела соприкосновения с фантазмагорическим элементом, потому что его почти не было в жизни моих, моего народа,

которая тогда охватывала меня со всех сторон. Самые фантазмаго-рии моего детства доказывают это.

Я часто видел сны, — конечно, в числе их было много страшных. Очень испуган был я одним: Волга поднялась очень высокою волною и заливала нас, в том числе и меня. Другой сон очень огорчил меня: я, шаливши, как часто шалил, перочинным ножичком моего батюшки, сломал его, а ножичек этот был его любимый, — ах, как я был рад, проснувшись, что это было во сне! — Еще, пожалуй, можно бы рассказать несколько моих снов, но все они относились бы к этим двум сферам жизни: к явлениям природы и к впечатлениям общественной и домашней жизни. Но самый страшный сон мой, надолго оставшийся смущением для меня в трусливые минуты, состоял в том, что обезьяны очень большого роста, — с высокого человека, и необыкновенно сильные, — сильнее медведя, и страшные лицами, похожими на человеческие, напали на группу людей, в числе которых был и я, стали бить, кусать и тащить к себе в лес. Я долго дрожал, если случалось вспоминать этот сон вечером, когда собираешься спать: ну что, если он опять приснится? — ужасно! — и точно, он иногда повторялся при начале дремоты с вечера, впросонках поутру.

Года два, три назад на столике продавца плохих картинок обыкновенного гравированья, заменивших прежние лубочные картины, я увидел картину, изображающую событие того же содержания, как мой сон. Надпись объясняла, что дело происходило в Африке, а эти обезьяны называются гориллы. Гориллы пущены в моду уже только в 50-х годах каким-то хвастливым путешественником по Африке из разряда путешествующих вралей. Я видел во сне точно таких обезьян, но они были не гориллы, а еще просто орангутанги — имя это моя сонная фантазия заимствовала из «Натуральной истории» Рейпольского, а сцену — из «Московских ведомостей», которые помещали ее где-то в Америке.

Из этого можно, кажется, убедиться, что насколько занималась грезами моя детская фантазия, она гораздо сильнее возбуждение и гораздо обильнейшие материалы получала из чтения, которым я занимался уже как член русской литературной публики, чем из жизни и рассказов окружавших меня людей.

Я был очень труслив и воображал себе ужаснейшие страхи, когда оставался один в темноте или хоть и не в темноте, хоть и среди белого дня, но как-нибудь далеко от людей, — однажды даже представилась мне в одном из таких страхов галлюцинация, она тоже замечательна с той же стороны. Я шел, сильно трусая, через комнату, в которой не было свечи, но было и не совсем темно: в окно светил месяц, и большой желтый четырехугольник его света ярко лежал на полу, — я взглянул — и увидел, что на этом четырехугольнике сидит на задних лапах очень большой белый тигр. С крайним трепетом я однако же как-то странно в тот же миг вздумал, что это только вообразилось мне, а в самом деле тигры живут в Индии, и бывают не белые, и что это не живой тигр, а

представившаяся мне в увеличенном виде наша белая кошка, которая точно так сидит на задних лапах и любит сидеть точно так на светлом четырехугольнике окна, только не от месяца, а от солнышка, — разумеется, тигр не выдержал такой ученой критической беседы, и я еще нисколько не оправился от ужаса, им наведенного, как он исчез.

Как смирна и скудна в отношении средневековой фантазмагоричности должна быть та обстановка, вырастая в которой трусливый ребенок принужден заимствовать свои галлюцинации и страшные сны из «Натуральной истории» Рейпольского и «Московских ведомостей»!

III

Начнем новую главу, — о другом предмете, — не потому, чтобы я высказал о прежнем все, что хотел высказать, нет, мы еще вернемся к нему не раз и не два, как постоянно будем и возвращаться назад, и забегать вперед, и больше всего делать экскурсии в стороны, — прежний предмет оставим не потому, что он истощен, а потому, что уж много страниц занято им, надоел он покуда, и покуда не пройдет чувство пресыщения им, незачем продолжать толковать о нем. Итак, пусть будет новый предмет.

После времен доисторических всякая история должна начинать говорить о временах исторических, — за мифами следуют факты действительной народной жизни. Стало быть, так должно быть и в моей истории.

Всякая история, обещаясь рассказывать жизнь народа, вместо того рассказывает жизнь правителей, чего обещается не делать. Стало быть, и моя история поступит так же.

За временами и элементами мифическими во всякой истории следуют времена эпические, в которые действуют и восхищают сердца своим величием «герои сумрака», по счастливому выражению известного русского поэта и стилиста Н. М. Карамзина: после Юпитера — Геркулес и проч., после Одина, Тора — Зигфрид и проч., у нас после никого — Рюрик, Олег и Святослав. Так и в моей. Но моя история, как уже известно, находит свою седую древность во временах очень новых по обыкновенному мнению других историков, и ее эпические времена выходят не далее неизвестных мне с точностью годов первой четверти XIX столетия, и мой «герой сумрака» — один из пряников, отпечатанных по образу и подобию Людовика XIV.

О предместниках Алексея Давыдовича¹⁴ не дошло до меня никаких слухов. Но великолепием и благостью Алексея Давыдовича полны были рассказы бабушки и бабушкиной компании. Алексей Давыдович не жил в городе, как и следует Людовику XIV, а тоже по соседству, вроде Версаля, на «даче». Дача на моей памяти еще была верстах в двух от конца города, — теперь город уже подтянулся к ней. Это был огромный (пропорционально тогдашнему саратовскому размеру) дом, с флигелями, службами, с другим

домом, поменьше, но тоже большим, под боком, и у этого дома флигеля и службы, — все это тянулось, быть может, на целую треть версты, если считать по длине каменного забора, — с боков и позади были роща, сад, — сад с прудами, пруды с островами и мостами, острова с киосками, киоски с цветными стеклами, цветные стекла с — нет, уже ни с чем больше, только сами с собою. По прудам плавали люди в лодках и лебеди без лодок, в роще и в саду, на мостах и на прудах и островах бывали иллюминации и фейерверки, в домах бывали балы и банкеты, превышавшие своим блеском все, что могла представить себе фантазия повествовавших мне о том саратовок и саратовцев. Эпоха Алексея Давыдовича — в их воображении — один непрерывный праздник, двадцатилетнее всенародное ликование без одного не то что хоть месяца, а хоть дня для передышки.

Я не видел этих праздников, но мог бы их описать, — балы, если бы соединил маленький кусочек зала так называемого клуба в его бальные дни с маленьким кусочком вокзала, буфета и сада Минеральных Вод в один из их вечеров, — но, во-первых, я не был и на этих увеселениях, потому не могу описать и их, во-вторых, они очень известны всякому и без моего описания. Итак, всякий, кроме меня, может отчетливо вообразить себе картину великолепия эпических времен Саратова, невообразимую только одному мне, знакомящему с нею Россию и человечество, современников и потомство.

Но, не в силах будучи ни изобразить, ни вообразить этой картины, я могу дать некоторые указания для точнейшего ее воссоздания воображением всякого другого человека.

Едва ли [не] половина высшего дамского круга, блиставшего на балах Алексея Давыдовича, состояла из дам и девиц, не обученных искусству чтения. Еще в моем детстве доживали век некоторые саратовские аристократки, не умевшие читать. Едва ли одна десятая часть высшего мужского общества тех же балов не нарезывалась мертвецки к концу бала — это не требует доказательств. Но каковы бы ни были их светские совершенства при таких данных, они и эти балы [были] представителями такого развития великолепия и тонкой светскости, которая повергала остальную толпу присутствующих в изумление, доходившее до сомнения, до неверия своим пяти чувствам, до отрицания перед самими собою и другими фактов, виденных собственными глазами отрицателей: нет, такого великолепия не может быть на земле! Нет, такого изящества не может достичь человеческая натура! — говорили новички, и только уже после долгой привычки получали силу постижения возможности действительно совершающего[ся] перед их глазами и воспринимали: верю тому, что вижу!

Сообразно предмету, мой рассказ стал, как я вижу, эпопеею, то-есть я сильно заврался: конечно, никто и с первого своего присутствия на бале Алексея Давыдовича не сомневался, что он действительно, а не во сне видел все, что видел, — и, не понимая

возможности существования такого великолепия на земле, не думал отрицать его существования. Но если не было этого, то это должно было быть.

Великолепный, как Людовик XIV, Алексей Давыдович был и великодушен, благодетелен и благотворителен, как Людовик XIV, — подобно ему, был покровителем всяких достоинств, заслуг и добродетелей, помогал бедным, — хотя бедных не могло существовать в правление Алексея Давыдовича, но все-таки он помогал им щедро; отирал слезы страдающих, защищал угнетенную невинность, — хотя, конечно, в его правление не могло быть страдающих и не могла угнетаться невинность, но все-таки он защищал ее и утешал их.

Такое дифирамбично-эпическое созерцание величественного образа Алексея Давыдовича и блаженства времен его было внесено [в] мои созерцательные способности рассказами бабушки. И хотя холодный рассудок говорит, что дифирамбичность сильно украшает истину, но он же, как известно, говорит, что под украшениями идеализации лежит истина.

Так и я, в моем детстве, когда ниспадал из области эпического созерцания в рефлексию, видел, что если Алексей Давыдович и не был окружен величием и великолепием уже совершенно невиданным никогда ни прежде, ни после нигде на земле, то все-таки он действительно должен был жить очень пышно, задавать балы и банкеты с очень большим количеством блюд и вин, свеч и плошек, дам и кавалеров. Елтонская соляная операция была в его руках очень фамильярным образом, дававшим, по молве, чуть ли не сотни тысяч, и кроме того, он брал в Саратове и пригородах, тянувшихся к нему, всякие большие суммы, какие кто соглашался давать ему в заем, а таких простяков было довольно; про обыкновенные источники дохода нечего говорить.

Это холодное рассудочное объяснение первоначально запало мне в память не из рассказов бабушки о великолепии и благости Алексея Давыдовича, а из сожалений моей матушки о судьбе ее доброй знакомой, которую звали Катерина Егоровна, — фамилии не помню. Катерина Егоровна была очень дружна с моею матушкой, и я помню ее как очень добрую и ласковую девушку; она была для девушки уже не молода — вероятно, ровесница моей матушки. Она не имела ровно ничего и жила по каким-то родственным ли отношениям, или по памяти людей о важных одолжениях, полученных от ее отца, в семействе вовсе не богатом, но не нуждающемся. Она была очень добрая, кроткая, по тогдашнему времени очень образованная женщина. Вот, жалея о ней в семейных разговорах, моя матушка и говорила постоянно, что ее сделал нищею Алексей Давыдович. После отца Катерине Егоровне осталось 40 000 ассигнациями наследства; по тогдашнему саратовскому это было богатство, равное по крайней мере 80 000 р. для нынешнего времени в Петербурге. По какому-то случаю Алексей Давыдович имел возможность сделать распоряжение об этих деньгах, — кажется, Кате-

рина Егоровна осталась малолетнею после отца, и можно было распорядиться через опеку, — или другим способом, все равно, дело только в том, что Алексей Давыдович взял эти деньги долгом на себе. Само собою, что не было возможности воскресить сгоревшее сало с дегтем плошек, в виде которых эти деньги озаряли и восхищали Саратов, следовательно, не Алексей Давыдович, а закон природы был виноват в невозможности этим деньгам возвратиться в руки Катерины Егоровны ни при жизни, ни по кончине Людовика XIV моей саратовской истории. Когда мне было лет 10, Катерина Егоровна уже была только страдальцею, — она упала с экипажа, лошади разбили ей голову, ее ум ослабел, за нею смотрела какая-нибудь старушка из прислуги, как за ребенком; моя матушка навещала ее, но меня уже не брала с собою; следовательно, мои воспоминания о ней, умной, доброй, прекрасной, ехать к которой было для меня радостью, принадлежат только самому первому детству, лет до 9 или до 8; следовательно, и знание мое об Алексее Давыдовиче с финансовой стороны начинается вместе с эпическими сведениями о нем, если не раньше их. Может быть, поэтому и не действовала на меня эпопея.

После времен, так отчетливо и живо отразившихся в эпосе Гомера, надолго все прячется в туман неизвестности, и наконец, когда вновь открывается занавес, на сцене греческой истории вместо «богоподобных» Ахиллов, Агамемнонов, Приамов и Гекторов являются уже обыкновенные смертные, с обыкновенными человеческими приключениями. Так и в моей саратовской истории. После иллюминированной эпохи Алексея Давыдовича, подобного Людовику XIV, который был «подобен богам» по мнению надписей на его медалях, история Саратова на долгий период скрывается от моего детства во мрак безвестности, пока является история о путешествии Прасковьи Ивановны к Ивану Постному и его последствиях.

Одна из сестер бабушки, Прасковья Ивановна, молодая, прекрасная женщина, долго не имела детей. А жили они с мужем, Николаем Ивановичем, не бедно. Николай Иванович на моей памяти был уже священником, — тогда он был только дьяконом или даже дьячком, но жили они с женою без нужды. А если так, то натурально, что дети были бы на радость, и Прасковья Ивановна горевала о своем неплодии. У нее была душевная приятельница, мещанка, тоже молодая, добрая, прекрасная женщина, тоже жившая с мужем без нужды и точно так же не благословляемая от бога детьми и горевавшая о том. Обе приятельницы, толкуя со всеми добрыми приятельницами, а в особенности между собою о своем горестном обстоятельстве, беспрестанно доходили до выражения желания, не редкого в те времена в тех кругах у молодых женщин добрых, не нуждающихся и бездетных: «Если уж не дает бог своих детей, хоть бы подкинули ребенка, — рада была бы, как своего стала бы любить». В таких разговорах шел год за годом, и пришел неизвестный мне год, когда произошел такой случай. Начиналась

осень, подходил Иван Постный (29 августа), — праздник в селе Увеке, верстах в 15 или 18 ниже Саратова на том же берегу Волги, — увекский Иван Постный очень уважается в Саратове и служит местом ближайшего паломничества благочестивых горожан. И я с моими старшими раза два-три ходил к Ивану Постному, то-есть к обедне в Увекскую церковь, только не в этот день, потому что в этот день — толпа, давка, шум и конечно не без очень сильного кутежа; но таких посетителей, не в день храмового праздника, очень мало бывало в Увеке; вся масса паломников идет туда собственно «на Иван Постный», 29 августа, и только одним этим ограничивается паломничество: зато в этот день ходят туда очень многие. — Вот, накануне Ивана Постного, Прасковья Ивановна со своею приятельницею спросили друг друга, пойдут ли к Ивану Постному. «Мне нельзя, надо завтра полы мыть», или что-то такое, особое по хозяйству, сказала одна. «И мне тоже некогда, тороплюсь дошить рубашку мужу», или что-то тоже такое по хозяйству, сказала другая. Обе решили, что и не надобно много жалеть об этом, потому что работа — та же молитва, так ее бог принимает. Разошлись. Спят. Среди ночи слышит Прасковья Ивановна — стучатся в ставень: «Спите что ли, добрые люди? Так проснитесь». — Прасковья Ивановна встала, — за ставнем услышали шорох и продолжали: «проснулись? — так выходите, примите, что бог послал», — дело уже несомненное после этих слов, да и по первому стуку понятное для тогдашних саратовцев: стук спокойный, не пожарный какой-нибудь, не пугающий, а только будящий, — известно: младенца подкинули. Прасковья Ивановна выбежала за ворота, подбежала к окну, у которого стучались: конечно, уж тех и след простыл, а младенец лежит под окном. Взвела Прасковья Ивановна, — но воем не поправишь дела: надо ум приложить. Прасковья Ивановна стала прикладывать ум, то-есть куда девать подкинутого младенца, — и приложила: «Да вот, — она произнесла в мыслях имя своей приятельницы, я его не слышал и не знаю, но для удобства надобно как-нибудь назвать приятельницу, пусть она будет хоть Прасковья Петровна, — да вот Прасковья Петровна говорила, что с радостью взяла бы такого младенца, — к ней надо». Надевши башмаки и остальные принадлежности, Прасковья Ивановна пошла с малюткою, положила его у окна приятельницы, постучалась как следует, сказала как следует, что дескать бог послал, — сказала, разумеется, чужим голосом, как следует, и торопливо отбежала в сторону, дожидаться, пока выйдут взять младенца (добрые люди так подкидывают: дожидаются за углом, пока выйдут взять младенца, иначе нельзя, не христианское дело: ну, что, если не добудились? младенца собаки съедят). — Слышит, приятельница стукнула дверь, идет принимать младенца, — и Прасковья Ивановна благим матом, — то-есть сломя голову, — бросилась бежать домой. Благополучно добежавши домой, стала она рассуждать, — конечно, после такого дела не вдруг-то заснешь: «А ведь ко мне к первой придет Прасковья Петровна рассказывать,

а я какими глазами буду смотреть на нее? — Уйду к Ивану Постному».

Бродит Прасковья Ивановна около церкви, пришедши к Ивану Постному, — глядь, и ее приятельница тут же. «Как она здесь, когда сказала, что не пойдет? Видно, прибежала ко мне, сказала ей матушка об нашем происшествии, как подкидывали к нам, она и догадалась, от кого получила, пришла сюда меня ругать». — И Прасковья Ивановна пятилась в толпу подальше от своей приятельницы, — благо та еще не заметила ее. Но вот, — идет, идет! не спрячешься! — Что ж, уж надо самой начать каяться. «Прости ты меня, мать моя Прасковья Петровна, согрешила я перед тобою», — обратилась Прасковья Ивановна к подходящей приятельнице, чтобы воспользоваться хоть снисходительностью к «повинной голове», которую «меч не сечет». — «Что, моя матка, Прасковья Ивановна, какая твоя вина передо мною? — отвечала еще вздыхательнейшим тоном приятельница: — моя вина перед тобою больше. Я начала. Как ты мне его принесла, я так и подумала, что ты догадалась, от кого тебе было приношение, потому и назад воротила ко мне. Со стыда, моя матушка, и сюда-то ушла, от тебя, — да как увидела тебя тут, совесть-то не вытерпела, пойду, говорю, покаюсь теперь же перед нею: ведь когда-нибудь надобно же будет каяться, так уж лучше поскорее грех-то с души долой. Прости ты меня, Прасковья Ивановна, матушка». — «Так вот оно какое дело-то вышло! Это ты мне его подкинула!» — говорила Прасковья Ивановна. — «Я подкинула, мать моя, вот оно какое дело-то вышло. Как подкинули мне его, я думаю: куда девать. Думаю: отнесу к Прасковье Ивановне, она часто говорила, что рада была бы принять». — «Так-то и я про тебя рассудила, мать моя, Прасковья Петровна, что понесла его к тебе подкинуть». Повторивши по несколько десятков раз: «матка моя» и «матушка моя», и «мать моя» с взаимными именами и отчествами, «вот оно дело-то какое вышло», «вот оно как вышло-то» и прочее, и досыта накачавшись головами и навздыхавшись над таким вышедшим делом, приятельницы могли, наконец, двинуть дальше свой разговор. — «Что же ты, матка моя, будешь с ним делать-то?» — спросила Прасковья Ивановна, — «Как, моя матка, что делать? Я уж сделала, — и не в догадку, что надо рассказать, совсем забыла: уж подкинула». — «Подкинула?» — «Как же, матка, в тою же секунду, как ты мне назад-то принесла, я опять пошла подкидывать, — да уж, чтобы опять греха не было, не воротился бы ко мне, так в тот конец города, к Илье Пророку, — далеко, так одной-то страшно, мужа с собой брала». — «И хорошо подкинула?» — «Хорошо, тут бог помог, хорошо. Да еще я тебе скажу, как хорошо-то вышло: знаешь, стоим мы с мужем-то, за углом-то, ждем, покуда выйдут младенца-то принять, — а в эту самую пору, как они выходят-то, бог на наше счастье и пошли, идет человек, — лакей ли, приказный ли, в шинели, — так и идет себе, — знаешь, ничего этого не знает. Они на него: это ты, говорят, подкинул! — Знаешь, двое мужчин выскочили, — видно,

семейство уж опытное, не то, что у нас с тобою. — «Ты, говорят, подлец, подкинул!» да [за] шиворот его: «бери», говорят. А мы с мужем-то: слава те, господи! — крестимся, да бежать, бежим да крестимся: слава те, господи! Вот оно устроилось как хорошо». — «Ну, слава богу: истинно хорошо, что так». — «Хорошо, матушка».

Итак, приятельницы еще не знали, чем кончилось устройство дела, но когда воротились в город, все еще твердя «вот оно как вышло», «вот оно, какое дело-то выходит», — то слышали, что вышло еще дело, и несколько дней душа у них была в пятках, не проболтаться бы как, не добрались бы до них, — но слава богу, остерег их милостивый господь, не проболтались, и никто тогда не дознался, что от них это вышла такая история, что губернатора схватили за шиворот и заставили взять младенца. Впрочем, если б и дознались, не было бы им большой беды, — поясняла нам моя бабушка: — потому что и с этими людьми, — тоже из мещан, — которые схватили его за воротник, он ничего не сделал: оттого что нельзя было ему шум-то подымать: зачем, скажут, в такую пору по дальним улицам ходил? — «А зачем же, бабенька?» — Ну, известно зачем: распутник был. А они ему и бока помяли, покуда сначала спор-то у них был. Он сначала не сообразил, что уж нечего, покориться надо, чтобы не вышло больше сраму, поупрямился было, говорит: не я подкидывал, не беру. Да спасибо, скоро образумился, — взял, понес. — На часть принес, там отдал, на их содержание, — приставу в наказанье, что за порядком не смотрит. Только тем и кончилось».

Фамилию Алексея Давыдовича я очень хорошо знаю, и тогда же мне сказывали; но как была фамилия этого его преемника, не помню: он, видно, не выдавался ничем особенным из ряда предместников и преемников и сливался с ними в общем прозвании по должности. Но как бы ни была его фамилия, а ясно, что эпоха, обозначаемая этим его приключением в детской истории Саратова соответствует временам Регента и Людовика XV в обыкновенной французской истории. Нельзя не возвышаться духом и не ликовать мыслью, находя такую правильность исторического развития и в великом, и в малом масштабе, и нельзя не воскликнуть: непреложны пути истории, всегда и повсюду одни и те же, и своим тожеством во всех временах и странах свидетельствующие о единстве коренных сил, развивающих движение событий, и о неизбежности для всякой страны того же прогресса, какой достигнут хоть где-нибудь!

Но если в саратовской истории был Людовик XIV, потом были Регент и Людовик XV, то через несколько времени была и эпоха террора? — Была. Она лежит на границе моих детских и моих уже не детских годов, — как и эпоха, называемая террором и тому подобными именами в обыкновенных историях, лежит всегда на границе между детскою и уже не совсем детскою жизнью нации. Англия имела эту эпоху в половине XVII века, Франция в конце XVIII, моя детская история Саратова в 40-х годах XIX века.

После губернаторов, имена которых погибли для моей истории по причине моего нахождения в малолетии под их управлением, настало, наконец, время губернатора, фамилию которого я знаю уже по личной своей памяти, а не [по] преданиям древности. К этому губернатору приехал и поселился в Саратове его сын, молодой человек, отличавшийся довольно буйными свойствами. Конечно, никакие преграды не противопоставлялись им, и скоро стал он ездить по ночам с своею компаниею по улицам для потехи молодецкой над прохожими. Издевались, хватали, трепали, колотили, — и ничего, Саратов благодушествовал, — порицал в сокровенности дружеских бесед, роптал себе под нос, чтобы никто не услышал, но благодушествовал. Скоро стали каждое утро находить на улицах то одного, то двух убитых. Но благо[ду]шествовали. Говорили: губернаторский сын режет людей, это его с его шайкою дело. Шла неделя за неделю; режущие, видя благодушествование города и наслаждаясь безмятежным спокойствием, ободрялись больше и больше. Стали резать не только во мраке ночном, но расширили свои занятия и на время рассвета, и на время сумерек, — наконец, совершенно убедившись, что их дело не такое дело, которому надобно бояться света, стали заниматься им на стогнах града и при свете солнечном. Да не подумайте же, что я употребляю такие выражения в виде украсительных словоизвитий, — несколько. Резали в раннюю обедню и возобновляли резанье в вечерню, — буквально; резали на всяких улицах, не то что только в глухих, пустынных, — нет, и на главных. Особенно хорошо и много резали на площади Нового Собора, через которую надобно проходить из южной половины прибрежной части города на рынок съестных припасов, на «Верхний базар». На Соборной площади стоит самое большое из тогдашних зданий Саратова, корпус, в котором тогда помещались почти все присутственные места, с другой стороны — архиерейский дом, с третьей стороны — гауптвахта. Средине площади, довольно большой, занята бульваром. На этой-то площади и резали в продолжение всего времени от начала вечерни до конца ранней обедни, а от конца ранней обедни до начала вечерни не резали. «Нельзя, губернаторский сын», говорила полиция. — «Что делать, губернаторский сын», говорил город. И благодушествовали. Сколько времени это продолжалось, я не могу сказать в точности, но наверное не две, не три недели, а гораздо, гораздо больше. Я полагаю, месяца три, если не больше. Сколько народу было перерезано, этого, конечно, не только не умею сказать я, этого нельзя доискаться и никакими справками: сочтешь ли всех. Но положительно надобно сказать, что в это время было перерезано не то, что десятка какие-нибудь полтора, два человек, а несравненно больше; по размеру впечатлений готов бы сказать, что было перерезано человек полтора, двести, — может быть, до трехсот; но, конечно, это будут преувеличенные цифры; а верно то, что не две, не три недели продолжалось открытое резанье людей на улицах, не только без поимки, даже без всякого преследо-

вания резавших. Это было уже в 40-х годах, в губернском городе, на главных улицах и площадях города. Это так странно, что я готов бы сам не верить точности выражений, употребляемых мною для характеристики этой удивительной процедуры, но не могу не видеть, что эти выражения точны, — как же я отрекусь от них из трусости показаться человеком, прикрашивающим дело, когда в моей памяти остается, например, следующий рассказ.

Авдотья Петровна, одно из лиц, составлявших население нашего двора, героиня одного из следующих моих повествований, наша добрая знакомая, небогатая мещанка, имевшая лавочку на Верхнем базаре, пришла к нам под вечер и рассказала, что поутру чуть не зарезали ее. Она шла в свою лавочку. Звонили «достойную» ранней обедни то в той, то в другой церкви, когда она переходила площадь Нового Собора. Она шла, держась подле бульвара, огороженного тогда решеточкою только четверти в три или в аршин вышины. На бульваре было довольно много ям, приготовленных для посадки новых лип. На той стороне площади, по которой шла Авдотья Петровна, шло еще человек пять, шесть. Был полный солнечный свет. Вдруг крик, — на двух из шедших по площади наскочили откуда-то взявшиеся люди, сбили их и стали резать. Другие прохожие поспешили убежать, кому куда ближе, с площади в улицы. Авдотье Петровне до всякой улицы было далеко, она перескочила через низенькую решеточку бульвара, добежала до одной из ям, бросилась в нее и просидела там с полчаса, если не больше. Через несколько минут операция зарезывания была кончена, зарезавшие ушли, все стало тихо, — через минуту опять шли по площади обыкновенные прохожие, но Авдотья Петровна боялась высунуться из своей ямы, пока не стало слышно на площади уж очень много проходящих.

Вот вам, — что вы прикажете делать с таким обстоятельством? Я готов бы положить, что молва подвигала резню слишком далеко в дневное время, слишком надвигала ее от темного вечера и от темного утра к обеду, — но когда же могла Авдотья Петровна идти отпирать свою лавку, как не перед самым началом базарного времени? Неужели же базар начинается бог знает в какие утренние потемки?

Этот случай отчетливо остался в моей памяти, потому что был с хорошо нашею знакомою, рассказ которой я и слушал в тот же день. Но совершенно подобные случаи слышались тогда беспрестанно.

Опять: я готов был бы не говорить, что полиция оправдывалась перед жителями в полном непреследовании режущих, объясняя, что «нельзя: ведь это губернаторский сын». Само собою кажется, ясно, что губернаторский сын не резал же людей на улицах, чтобы отбирать с убитых одежонку, какие-нибудь два, три целковых деньжонок, — то-есть само собою кажется ясно бы должно представляться полиции, что такая отговорка слишком нелепа, а жителям, что это просто насмешка над их простотою, когда употребляется

такая отговорка; я понимаю, что и делающие, и принимающие отговорку выставляются ею жителями какого-то до неправдоподобности идиотского века и места. Но что ж мне делать, когда так было? Нельзя же утаивать правду для того, чтобы не нарушать правдоподобия.

И опять, я чувствую, что прилагаю к рассказываемой мною жизни мерку, чуждую ей, когда нахожу невероятным то, что помню и что действительно так было. Что губернаторский сын не резал, это, конечно, так; что и сорванцы, окружавшие его в ночных проказах, могли не заниматься сами резанием, когда упражняли свои сорванецкие таланты в отдельности от своего патрона, как самостоятельные герильясы, это может быть, хотя может быть и иначе. Он мог только не знать, что его сорванцы стали заниматься и настоящим разбойничеством. Но участвовали ли в резаньи людей эти сорванцы или нет, а несомненно то, что резанье для грабежа основалось на сорванецких проказах, производившихся для потехи, и прикрывалось ими. Это доказано развязкою дела.

Развязка дела имеет характер подвига, совершенного в древности Брутом Старшим¹⁵. Отец-патриот принес сына в жертву на алтаре отечества. Как, до кого дошли слухи, этого мои саратовцы, конечно, не знали, — только отец узнал, что слухи дошли, и написал письмо, в котором говорил, что вот сам доносит о беззакониях своего сына, пусть делают с сыном, что хотят, хоть казнят смертью, он, отец, будет рад. Сына отправили из Саратова на Кавказ. Из этого ясно, что ночные буйства для потехи и резанье имели действительно тесную связь, — иначе не зачем было бы подвизаться в виде Брута Старшего.

И опять, шалости шалостям рознь. Об ином сорванце, конечно, только дураки могут говорить или верить, что он режет людей на улицах, — так, для упражнения руки. А как назвать выдавание или принятие такого мнения за правду идиотством, когда, например, был такой случай.

Подле дома, где жил Брут с сыном, был дом нашего знакомого, отчасти непостижимо далекой степени родственника, помещика средней руки. У него было несколько дочерей. Большую часть двора занимал сад. Окна Брутовского дома смотрели в сад. Однажды дочери помещика гуляли по саду, услышали пистолетный выстрел из окна Брутовского дома, взглянули, увидели, что выстрелил сын Брута, впоследствии принесенный на алтарь отечества, а теперь пока вздумавший попробовать, не удастся ли ему сделать то, что рассказывают про старинных венгерских удальцов: отбить пулю каблук у башмака идущей дамы или девицы. Но не удалось: пуля вошла в землю довольно далеко от пятки, для которой предназначалась, — четверти на две промахнулся.

И только? — только. Теперь: если днем, — следовательно менее пьяный, чем ночью, — из своего дома, следовательно не до того разгоряченный, как при скачке с криком, гвалтом и схватками на улице, — человек стрелял в пятки людям для пробы руки, — то

скажите, что же особенно глупого в предположении, что трупы, находимые на улицах после его кутежных прогулок по улицам, могут быть трупами его фабрикации?

Опять меня берет сомнение: не покажется ли странновато, что могли производиться сыном Брута ночные проделки, от которых один шаг до разбоя? Но нет, есть же предел всякому скептицизму, — иначе, пожалуй, я усомнюсь и в следующем происшествии, которое засвидетельствовано судебным приговором.

Когда находил набожный стих на мою бабушку и ее собеседниц, то выражали они сожаление, что в Саратове нет мощей. В будущем была очень верная надежда на мощи. Преосвященный Иаков был человек такой строгой и святой жизни, что собеседницы не сомневались в достойности его быть прославлену от бога открытием его мощей (когда его перевели в Нижний Новгород, говорили, этот шанс погиб для будущности Саратова, и я слышал такие размышления: видно, не угоден богу наш город, что отнимает он у нас архиерея, от которого были бы у нас мощи). Но все-таки, если была надежда в будущем, то еще только далеко: ведь мощи открываются через десятки [лет] по смерти святого мужа; а тут и святой еще находился в добром здравье и не старых летах. — Но вот, одна из собеседниц (чуть ли не моя бабушка) сообщила другим, что по примете одной старушки (чуть ли не моей прабабушки) должны скоро открыться мощи: старушка из своего окна, обращенного к Соколовой горе, видит на этой горе, на пустынном месте, каждую ночь маленький огонек, — будто свеча теплится, — должно быть, над мощами, и, должно быть, скоро они должны открыться, когда уже возжигается над ними небесный свет. Кружок бабушковых собеседниц стал наблюдать по ночам из окон: точно, возжигается свет на Соколовой горе, будто свеча теплится. Положили: быть тут мощам и скоро открыться им. Кажется мне, что именно моя прабабушка первая заметила этот симптом будущего и что через мою бабушку он вошел в сведение кружка, в котором и я сидел. Но не ручаясь, действительно ли открытие это принадлежит прабабушке, а его распространение — бабушке, я уже отчетливо помню, что кружок убедился в возжигающемся свете собственными наблюдениями и что моя бабушка и ее сестра Анна Ивановна твердо ждали открытия мощей.

Итак, возжигающийся свет не представлял в себе темноты, как и натурально. Но совершенно другое дело, чисто житейское и коммерческое, представляло темноту. Вокруг Саратова много ветряных мельниц. Построилась еще одна мельница, которую наши заметили оттого, что она была видна с дороги в мужской монастырь, куда нередко ездил летом мой батюшка по делам, к архиерею Иакову, переселявшемуся туда вместо дачи. С батюшкой, — когда было время собраться, а не вдруг ему встречалась надобность ехать, — отправлялись и мы гулять по монастырской роще, пока он занимается делами с Иаковым. Матушка и тетушка говорили: что-то странна эта мельница, никогда не видно, чтобы она молола. Да и

поставлена она на таком месте, что неоткуда возить хлеб на нее. И место слишком неудобно для мельницы еще в другом отношении: закрыто горами от господствующих ветров, так что вообще в нем затишье.

После этих двух предисловий начинается история. В нескольких верстах от Саратова, близ деревни Гуселки, но отдельно от деревни, выстроил себе порядочный домик один вновь приехавший господин, одинокий, немолодых лет, хороший человек, по словам соседних владельцев, с которыми познакомился, — но главное не в том, что хороший человек, а что были у него некоторые прихоти, тоже все хорошие: любил он читать книги, любил смотреть на звезды, на тот берег Волги в зрительную трубу, — это все прекрасно, но опять не в том дело, что прекрасно, а вот, что для своего смотрения в зрительную трубу он купил хорошую зрительную трубу, — любя читать книги, покупал их; то-есть не отказывал себе человек в прихотях, — ясно, что у него есть деньги. Также у него были и ружья хорошие, — он тоже развлекался и охотою, да вообще у него были хорошие вещи. Словом, видно, очень видно, что у него есть деньги. Вы ждете: «окажется разбойник», — нет, он так действительно и был хороший человек, немолодых лет, отставной офицер или моряк, — и разбойник был не он, а на него напали разбойники, потому что у него, явное дело, есть деньги, а живет он один. Кроме него, было только человека два прислуги, чуть ли не женщины, — да девочка, дочка слуги или служанки. Вот в одну ночь нагрянули разбойники, живо связали прислугу, — барин, кажется, успел заметить шум, так что оборонялся, чуть ли не успел сделать и выстрел из ружья, но это все равно, его скоро одолели и связали, — а девочка успела убежать, разбойники и не заметили ее, стали искать денег, — нашли деньги самые ничтожные, только на текущий ежедневный расход, каких-нибудь 15, 50 рублей, в этом роде, — где ж деньги? — Расспрашивали прислугу, барина, — не добились искреннего показания, стали грозить пыткой, — и тем не проняли, — стали пытаться, — все эти обыски и допросы заняли [так] много времени, что девочка добежала до деревни, поднялись, собрались мужики, пришли, окружили дом, гаркнули «лови!» — разбойники бросились бежать — соседняя деревушка небольшая, мужиков было немного, не успели поймать никого, все разбойники убежали. — Убежали, но в торопливости оставили разные свои вещи нападателю своего свойства, которые положили было, чтобы рукам была свобода заниматься обыскиванием и пыткой. Мужики нашли трофеями своей победы несколько обыкновенных принадлежностей ремесла побежденных, из разряда кистеней, ножей, топорков, — и одну штуку, вовсе необыкновенную в такой компании: шпагу военно-гражданской службы — оправившийся хозяин дома с удивлением стал рассматривать ее — и прочел на ней фамилию владельца: «Баус»¹⁶. Баус был один из четырех частных приставов богохранимого, — уж действительно бого-, а не человеко-хранимого, как ясно видим из этой истории, — города Саратова. Тут уж

ничего нельзя было сделать: промах дан слишком сильный. Баус был атаманом одной из разбойничьих ватаг. Эта ватага, между прочим, устроила себе приют, «пещерку малу», по выражению летописца Нестора, в том месте Соколовой горы, где мои старушки видели «возжигающийся огонь, как бы свеча теплится»; той же ватаге принадлежала и флегматическая мельница. — «Где-ко (гляди-ко), смотрите-ко, что вышло, — говорили мои старушки: — а мы совсем не то полагали на Соколовой-то горе».

Этот уголовный случай напоминает мне маленькую историю совершенно невинного, — скорее даже благодетельного характера, в которой мы втроем с приятелем моим NN и нашим кучером колуном Павлом играли прекрасную роль спасителей гибнущего человечества. Дело было более чем десять лет по окончании моего детства, но мы увидим, что оно хорошо для истории моего детства с историческо-гражданской стороны.

Я был учителем в саратовской гимназии. Один из моих товарищей, Сергей Алексеевич Колесников, позвал нас к себе на закуску как-то зимою, чуть ли не на масленицу. Я отправился вместе с одним из моих тогдашних друзей. Мы с [ним] поехали на нашем экипаже, если можно назвать этим именем наши сани, свойства которых я опишу, когда дойдет до того дело. Подъезжая уже к дому, где жил С. А. Колесников, мы обогнали старушку, шедшую по той тропинке вдоль забора, которая соответствовала тротуару, скрывавшемуся под нею на пол-аршина или аршин снега. Старушка была замечена нами собственно как старушка, — с филантропической точки зрения, что в такой мороз идет она в шубенке недостаточно комфортабельной по некоторой недостаточности и некоторому излишеству прорех. Пожалели, обогнали, приехали к С. А. Колесникову, закусили, я поиграл в карты (я играю в карты; как, это вероятно тоже будет объяснено мною со временем, по психологической интересности этого процесса), — значит, мы просидели часа три, — может быть, и побольше. Но мой спутник, не игравший в карты, торопил меня, скучал среди играющих, — и мы в начале сумерек поехали назад. — «Что это? По сугробу! — возьми поправее, Павел, надобно [посмотреть], что это за женщина. Да это та же самая старуха!» — Точно, она, — бредет около того же места, где мы обогнали ее, только уж не по тропинке, а целиком по широкой полосе, занимаемой неприкосновенным снегом в полтора аршина глубины, между пешеходною тропинкою вдоль забора и санною дорогою посредине улицы. — «Бабушка, да это все ты же тут ходишь?» — мы вывели старуху из сугроба на средину улицы. — «Что ж это ты?» — «Иду, батюшки мои». — «Куда же ты идешь, бабушка?» — «Домой». — «Где ж у тебя дом?» — «Зятек с дочкою живут в избушке подле Уфимцева сада». — «Да ведь это версты три за городом? Как ты дойдешь? Где тебе дойти? У тебя уж рот-то стал коченеть, не то что ноги, — вишь тебе уж и говорить-то не свободно». — «Точно, батюшки мои, точно, что сводит лицо-то, заскорузло». — «Как же ты

дойдешь? Тебе надобно переночевать здесь где-нибудь. Ты у кого была в городе-то?» — «У кумы, батюшки мои». — «Где живет кума?» — Старуха назвала очень далекую местность города. — Туда везти ее — не приходится, а так оставить нельзя: старуха от мороза и закоченела и уж совсем потеряла рассудок, — не разберет, что идет по сугробу, не разберет, что все прохаживается взад и вперед по одной улице. Как быть с нею? — «Мы тебя, бабушка, довезем до части, там обязаны дать тебе переночевать, да и пристава мы попросим, или кто там есть, хорошо приютят и покормят, а завтра поутру и пойдешь домой». — «Батюшки мои! — взывала старуха: — не губите моей души. Там меня убьют!» — Мы доказывали ей, что нет, не убьют, а дадут поужинать и уложат спать. Но никакие резоны не действовали: «Убьют! там убьют! в части убьют! В части всегда убьют!» — твердила старуха с таким убеждением, что мы подались и пошли на компромисс: вместо части предложили соседнюю будку; против будки старуха не имела такого твердого убеждения, была сбита нашею диалектикою, сказала наконец: «Ну, на будку так и быть подвезите, мои батюшки». — Мы сдали старуху будочнику с объявлением, что завтра полицеймейстер наведет справки о том, спокойно ли старуха проспала ночь и в целости ли отпущена.

Мнение старухи важно потому, что подано в обстоятельствах, при которых изливается из души чистейшая искренность, без всякой возможности софистики, риторики или капризности, а главное, при которых слова человека уже не могут считаться проявлением индивидуальности, а должны быть принимаемы за квинт-эссенцию национальной мысли: у старухи все личное уже находилось в замороженности: глаза не разбирали дороги, рот с трудом разевался, рассудок перестал действовать, — и в этом состоянии человек уже бывает только эхом духа своей нации. Такая находка с ученой стороны всегда бывает психологическою драгоценностью.

Да, старуха выразила сущность нашего саратовского воззрения на часть, представительницу организующего начала нашей национальной жизни в ее глазах. — Но за шутку или не за шутку захотите вы [принять] такое значение, находимое мною в словах старухи, — не подумайте, что я виню нашу русскую полицию вообще или хочу выставить вам особенно дурную саратовскую полицию моего детства. Правда, я нахожу, что если в данном случае ожидание смерти себе от рук полиции было ошибочно со стороны старухи, то признаю вполне основательным ее убеждение как общий принцип, из которого ее дело было исключением, из которого множество дел, миллионы дел, — пожалуй, огромное большинство отдельных случаев бывают исключением, но который все-таки обнимает собою национальную жизнь и жизнь каждого постоянно и повсюду, без всяких исключений. Несколько странновато кажется такое мое рассуждение: что, дескать, хотя огромное большинство случаев не подходит под принцип, но все факты подходят под него без всяких исключений. Это ничего: читайте дальше, вы увидите,

что я все так рассуждаю, что хотя 2×2 и составляют очень часто 4, но решительно всегда бывают 5, а не 4. Я собственно [говорю] с тем, чтобы рекомендовать вам такую логику. С отвлеченной точки зрения она кажется странновата; но жизнь вообще всего человечества от эпохи обезьянного периода до наших времен, а по преимуществу жизнь нашей с вами нации с XVI века по сие время постигается только при помощи такой логики. Потому до сих пор и нет порядочной истории ни всеобщей, ни какой частной, ни в особенности русской, что историки не умели овладеть ключом к истории, то-есть логикою, с которою я вас знакоблю.

Проникнуться этою логикою не совсем легко, и для вашей практики в ней я расскажу вам другой случай, в котором она прилагается довольно просто.

Однажды зимою в начале 1840-х годов я сидел у окна, выходящего на улицу. На улице ничего любопытного, по обыкновению, — но все-таки приятно смотреть на улицу, — вдруг, что такое? — бегут несколько человек, сломя голову, — еще, еще, — десятки, сотни людей, — не на пожар, не [на] другое какое зрелище, нет, не тот бег, не любопытный и спокойный, а отчаянный, — бег от погони. Эта преследуемая незримой опасностью процессия была так велика, что все наши успели заметить ее, подошли к окнам, смотрели, дивились. Большинство бегущих были простые люди в полушубках, но много было и армяков, были и волчьи шубы, и благородные шинели, — процессия состояла исключительно из мужского пола, — были в ней и дети, так называемые мальчишки (потому что дети только благородные), но мальчишки только уже порядочных лет: десяти, двенадцати; были и старцы, убеленные сединами, но старцы бойкие ногами, благословенно процветающие крепостью сил, и в небольшом числе, — а огромное большинство составляли пылкие юноши и люди в летах мужества, полного сил и гордого силами. Словом сказать, бегущие составляли отличнейшую часть физических сил саратовского населения. «А, это должно быть с кулачного боя погнались», стали замечать мои старшие по мере того, как подходили к окнам, — точно, никто из старших не ошибся, как все подумали одно, так все и угадали истину. Бой в ту зиму был на Волге, несколько пониже нашего дома. Бой был в полном разгаре, как на берегу явился полицейский с несколькими будочниками, — и сражающиеся ринулись бежать. Будочники погнались за ними; вероятно, кое-кого, у кого ноги были поплоше, успели и захватить; а может быть, и все спаслись, не случилось слышать.

Что тут особенного? — скажете вы: — так всегда бывает. И стоило ли это рассказывать?

Всегда, или почти всегда, и ничего особенного тут нет; но тем оно и важно, что ничего особенного тут нет. А рассказывать это стоило потому, что после такого рассказа вы обратите серьезное внимание на следующие мои дефиниции, а не отвергнете их с пренебрежением, как бессмыслицу. — Что такое волк и медведь? — спрашиваю я себя и отвечаю:

Так называемый волк есть обыкновенная овца; что же касается до медведей, то большинство их — телята, но некоторые — из породы козлов.

Так учит жизнь. Она странно, странно колеблет незыблемость всякого рассуждения о свойствах вещей. Вы видите кусок воска — я вам говорю: не ручайтесь, что это не кусок железа, что он не может вдруг оказаться крепким и острым перочинным ножиком. Вы видите камень — я вам говорю: не ручайтесь, что это не булка, очень вкусная и питательная.

Эх, говорю я хитро, непонятно.

Попробуем говорить проще. Бегущая кавалькада, виденная мною в древности, сильно припоминалась мне в средние века, когда я был уже философом, то-есть учеником философского класса в семинарии, ходил смотреть на кулачные бои, в которых подвизались и мои товарищи, некоторые друзья. Мне нельзя было и думать принять участие в битве: синяк на лице моем опечалил бы семейство, — я не вмешивался даже в полюбовные, дружеские кулачные бои в классе, — я так привык думать о себе, что мысль вмешаться в кулачный бой была так же чужда мне, когда я смотрел на него, как мысль быть муравьем, когда я, любуясь на них, сиживал у муравейника, — да если б и пришлось мне в мысль пойти в бой, мои приятели, небьющиеся и бьющиеся, не пустили бы меня, — итак, я стоял одним из тех немногих зрителей, которые смотрят на бой как на дело, которое никак не касается их, — но в какой экстаз все-таки постепенно приходил я! Это опьянение, это восторг! И сердце бьется, и кровь кипит, и сам чувствуешь, что твои глаза сверкают.

Это чистая битва, — но только самая горячая битва, когда дело идет в штыки или рубится кавалерия, — такое же одуряющее, упоющее действие. Бывали ль вы в порывах экстаза от чего-нибудь, — от пения, концерта, оперы, — я бывал и плакал от восторга, — но это все не то, все слабо перед впечатлением моим от кулачных боев.

Теперь, — действующий увлекается сильнее, чем зритель, — я полагаю, что это понятно; теперь: эти действующие, они не только увлечены опояющим действием, они — большинство их — и по всегдашнему темпераменту люди отважные, многие — бесстрашные, некоторые — герои в полном смысле слова. Итак, отважные, руководимые героями, разгоряченные до высочайшего экстаза — вдруг бегут, как зайцы, от нескольких завиденных вдали крикунов, которые не смели бы подойти близко и к одному из них, если б он хоть слегка нахмурил брови и сказал: назад! — не посмели бы, потому что он один сомнет их всех одним движением руки, как я смял бы пяток, десяток пятилетних ребятишек, — и сотни таких людей — бегут! — Что это такое? Это непостижимо для меня по правилам вашей логики, это объясняется только моею: дуб есть хилая липа, свинец есть пух, желтое есть синее, зеленое есть красное, белое есть черное.

Позвольте, еще два случая, в которых героем был уже я.

В первую половину моего детства на должности нашей дворовой собаки был Орешко, — разумеется, мой приятель, уже не молодой, потому солидный и при благородстве своего характера снисходительный к шалостям молодежи. Я ездил на нем верхом, много надоедал ему, он смотрел на это сквозь пальцы. Однажды, он лежал на одной из площадок лестницы, я сидел подле и шалил над ним, — у меня в руке было несколько листьев зори, — вы знаете эту пахучую траву? — Я, между прочим, давал ее нюхать ему, пихал ее в нос ему, — он воротил нос, — и все обходилось снисходительно с его стороны, — вы уже знаете развязку; ну, да, конечно: вдруг Орешко хамкнул с громким стуком зубов в полувершке от моего носа, — в эту секунду я чуть не умер со страха, — и опять Орешко спокойно лежит, положив голову на лапы, — когда я через секунду раскрыл глаза, чувствуя, что не проглочен им и даже не укушен, — и опять он, добрый, снисходительно смотрит на мои шалости.

Нет ничего особенного и в этом анекдоте? — Хорошо, другой. Тоже в первую половину моего детства, несколько лет жили у нас павлины, — иногда пара, иногда и много. В одно лето я возымел охоту гоняться за павлинами и упражнялся в этом неутомимо. Десятки раз я доводил павлина до того, что он плакал бы от моего надоедания, если бы птицы могли плакать. И вот, в двадцатый или пятидесятый раз я преследовал несчастного павлина, как вдруг он усиленно прыгнул вперед, взмахнув крыльями, обернулся, взмахнул крыльями, подскочил и клевнул меня в голову; я так и присел на месте. Как рукой сняло, перестал гоняться за ним.

— Да и во втором анекдоте нет ничего необыкновенного, — скажете вы. А разве я говорил, что второй анекдот будет необыкновеннее первого?

Теперь, однако, сообразите, что ж это такое? — ведь настоящий отдел моих воспоминаний занимается историею общественной жизни Саратова, как я знал ее в моем детстве, — и чем же наполнился? Есть некоторые страницы как будто путные, относящиеся к делу; на других — чорт знает что, все вместе — нескладница, какой свет не производил. Не скажу, что у меня сначала было намерение, чтобы вышло так, — не скажу и того, чтобы почти при самом начале не увидел, что выходит так, — не скажу, что если бы зрелое обдумывание да возможность следовать ему, то я почел бы именно такую манеру обработки предмета наилучшею для передачи вам сущности его, — но опять не скажу, чтобы, когда манера обработки стала выходить такая, то чтобы не показалось мне очень хорошо передающую сущность предмета.

Очень давно, не помню, в средних ли только веках моей личной истории, то-есть до третьего, четвертого месяца 1848 года, или еще в древности, то-есть до поступления в семинарию, мне стало думать, что если арабский язык, как я прочел еще в детстве, превосходит все другие необычайным богатством терминов для обозначения

верблюда, — то русский точно так же превосходит все другие богатством выражений для обозначения бессмыслицы.

— Чепуха, вздор, дичь, галиматья, дребедень, ахинея, безалаберщина, ерунда, нескладица, бессмыслица, нелепица, гиль, ералаш, сумбур, кавардак, бестолковщина, чушь, белиберда —

продолжайте, немудрено дополнить до сотни, до двух, до трех сотен.

Быть может, моя гордость несравненным богатством родного языка по этой части — только патриотическое пристрастие, национальное предубеждение; как мыслитель, я даже убежден, что мое открывание в нем большего обилия, чем во всех других известных мне языках, зависит только от того, что я знаю его лучше других языков, — но как человек я не могу вырвать из моего сердца чувство, объявляемое за неосновательное пристрастие моим рассудком, и это чувство согревает меня, дает приятную теплоту и моей речи. — Однако ж неприлично было бы обманывать ожидание читателя, который имеет право требовать от меня отчета о впечатлениях, оставленных во мне гражданственным и всякою тому подобною стороною моей обстановки, когда я сказал в заглавии, что дам такой отчет. Почему ж и не дать?

Прежде всего надобно объяснить, что такое Саратов. Некоторые, — в том числе все учившиеся географии или хоть чему-нибудь, — полагают, что Саратов не более, как город, находящийся в русской империи. Это мнение не лишено некоторого основания, но все-таки оно до крайности неточно и ведет к совершенно ложному взгляду на предмет.

Что такое есть Европа? — Это пространство земли, занимаемое очень многими государствами, из которых некоторые сильны, другие слабы, но из которых каждое имеет свою особенную верховную власть, свои особые законы, свои особые нравы, понятия и пользуется независимостью. Слабые государства ищут покровительства сильных, сильные, когда захотят, заставляют слабые исполнять их требования, берут у них сколько могут взять, иногда покоряют их и проч. Просвещенному читателю известно, что такое Европа.

Саратов есть Европа в чрезвычайно увеличенном и усложненном размере. В мое детство число его жителей считали, — как случится, — от 30 до 50 тысяч человек. По этим цифрам надобно считать, что Саратов заключал в себе от 6 до 10 тысяч государств. Не подумайте, что я играю словами, — я прошу принимать термин «государство» в самом строгом буквальном смысле, со всеми дипломатическими, юридическими и т. д. чертами, лежащими в понятии государства.

Как в Европе, так и в Саратове образ правления государств был чрезвычайно разнообразен. Были самодержавные монархии, конституционные монархии с парламентами, республики аристократические и демократические. Как и почему какое государство имело такой, а не иной образ правления, зависело от особенностей нации,

составлявшей государство, и других обстоятельств, определяющих форму правления и в Европе. Во всякой форме правления были, как и в Европе, примеры устройств, освященных временем, прочных, и, наоборот, недавних, борющихся за свое существование. Как в Европе, правительства, освященные давностью, считались со стороны всех других правительств свойственными каждое своему государству, и различие в формах правления нисколько не мешало этому взаимному признанию натуральности, целесообразности и хорошего достоинства существующего устройства. Поясним.

Англия — конституционная монархия; Швейцария — республика; Китай — богдыханство; Кабул — военная орда. Формы правления совершенно различны; но каждое государство издавна пользуется своею формою, и все остальные считают ее натуральною для него, приличною для него. Англия не доказывает Швейцарии или Китаю, что они должны принять ее форму правления. Швейцария точно так же находит, что смешно думать об обращении Англии или Кабула к швейцарскому устройству.

Точно так было в Саратове. В некоторых государствах, безусловно, владычествовало одно лицо, — в иных церемониальным и чинным порядком, как в Китае, в других — экстренными мерами, ежеминутно изменяющимися по прихоти и не знающими никаких форм, как в Кабуле. Лицо это было — иногда старший летами из мужчин, иногда и не старший летами, но старший богатством или чем-нибудь другим, иногда и решительно ничем не старший, кроме как властью, а во всех других отношениях младший и меньший некоторых из своих подданных. Но часто абсолютная власть принадлежала и лицу женского пола, даже и при военной форме правления. Были конституционные монархии, всяких видов, были республики, всяких форм устройства. Все эти государства взаимно признавали друг за другом свои разнообразные формы правления, когда видели их прочность каждой на своем месте. Приведу примеры.

В нашем семействе, в мое раннее детство, было пять человек совершеннолетних членов: моя бабушка, две ее дочери и мужья дочерей. Жили все. Это была — чистейшая Швейцария, состоящая из пяти кантонов. Никто не присваивал себе никакой власти ни над кем из четырех остальных. Никто не спрашивался ни у кого из четырех остальных, когда не нуждался в их содействии и не хотел советоваться. Но [по] очень близкой связи интересов и чувств каждого со всеми остальными никто не делал ничего важного без совещания, — совершенно добровольного, — со всеми остальными. Ни революций, ни *coup d'état*, ни возмущений, ни узурпаторств не было; потому, видя прочность и безостановочное действие такой формы правления в этом государстве, все другие признавали ее свойственною ему и даже не подвергали ее критике с точки зрения своего устройства, как англичанин не рассуждает о швейцарском устройстве, что оно нехорошо для Швейцарии потому, что в нем [нет] палаты лордов и других английских принадлежностей.

Так. Берем другое государство. Оно состояло из двух лиц, мужа и жены. Мужа звали Иван Родионович, — я называю его имя потому, что оно почти никому неизвестно, а имени жены не назову потому, что оно известно, а я пишу с ученою целью и потому избегаю всяких личностей; по этой же причине я умолчу и фамилию четы. Государство имело форму правления, среднюю между китайскою и старинною алжирскою, с примесью чисто идиотского элемента и сумасшедшего элемента. Муж был человек любивший есть, — жена (богатая) морила его голодом (как и себя). Муж не мог без вреда себе есть постной пищи, — жена кормила его ею, и он бывал нездоров; она ссылала его в изгнание; она возвращала его вновь на исправление мальчишеских обязанностей при ней, — не лакейских, этого мало, нет, какие исправляются так называемыми «казачками» — порядочные люди у нас в Саратове не заставляли взрослых слуг находиться при них по долгим часам в ожидании повелений «подай платок», «поправь ковер», — взрослых слуг звали, когда встретятся надобности исполнить такое повеление, и позволяли им опять уходить по его исполнению. Да что описывать, форма известна: женщина гадкого характера без толку мучит мужа и помыкает им.

Но слушайте, к чему ж я описываю это государство, форма правления в котором не составляет особенной редкости. Чета сочеталась не в молодых летах; стало быть, покорность мужа не могла произойти из влюбленности; да эта женщина и в молодости, конечно, не была хороша собою; она не имела ни ума, ни хитрости, ни силы характера. На чем же основывалась ее власть? Чета была богата; жена была старинной помещицьею фамилии, имела большое поместье. Муж не был помещик. Для меня было ясно: бедный человек женился на богатой, и натурально ему быть лакеем жены, у которой он на содержании. В таком убеждении я оставался все свое детство, и уже когда потом был в Саратове учителем, то случайно услышал, что богатство-то принадлежало мужу; он даже и выкупил поместье жены, которая перед свадьбою была по уши в долгу. — Эта черта показывает вам, как мало слышал я в детстве о внутренних делах описываемого мною государства. А между тем о нем говорили очень много, — но исключительно только о войнах и других иностранных делах его правителя. Нация — то-есть муж — не возмущалась, Нерон — то-есть жена — сидел в своем деспотизме прочно. Поэтому никто не говорил, что глупо неглупому человеку быть лакеем скверной рожей и душой бабы, когда он человек с состоянием.

Из этого видно, что отношения между саратовскими государствами были чисто международные отношения. Все прочные правительства занимались только иностранною политикою друг друга, а внутренних дел и форм правления не дискутировали. — Но точно так, как и в Европе, когда правительство какого-нибудь [государства] было непрочно, когда нация искала помощи у заграничных держав против своего правительства, — тогда, по необходимости,

начиналась дискуссия, и, точно так же, как в Европе, иностранцы осуждали правительство, не умеющее быть прочным, — совершенно так, как Европа рассуждала о Бурбонах, когда они упали, о Луи Филиппе, когда он упал, и проч. И совершенно так же, как в Европе, в Саратове общественное мнение накидывалось главным образом не на принципы государственного устройства, а на частные личные недостатки и ошибки правителя.

Я ввел читателя в предмет с этой стороны, с формы правления, потому что с этой стороны легче всего взойти на надлежащую точку зрения на Саратов, то-есть на собрание множества независимых государств. Но гораздо важнее другие стороны предмета, которые теперь легче будет увидеть так, как следует.

Имея независимое правительство, каждое государство имеет и свои особенные законы. В Англии вешают, во Франции рубят головы, — разница; в Англии солдат набирают вербовкою и секут (ныне уж очень мало); во Франции набирают солдат конскрипциею, но вовсе не секут; многие английские преступления вовсе не преступления по французским законам, законы о наследстве и множество других важных частей гражданского права в этих двух государствах различны. — Точно так же разнообразны были законы саратовских государств. Возьмем в пример законы о наследстве. В одном государстве наследовали поровну все дети, как во Франции; в других — один старший сын, как в Англии; в третьих — один младший сын, как в древности у некоторых славянских племен; в четвертых наследство оста[ва]лось в общем нераздельном владении у всех сыновей, как у других славянских племен; в пятых наследовали одни дочери, а сыновья исключались из наследования, как было у амазонок. Возьмем другой пример, законы о браке. В большей части государств саратовских, как и европейских, господствовало единоженство; но как в Европе есть исключение — Турция, — так были исключения и в Саратове. Были государства, — я говорю о русской части Саратова, татарской части населения я совершенно не касаюсь в этом очерке, во-первых, потому, что я не имел с нею сношений в детстве, во-вторых, потому, что мусульманский мир более известен, чем русская система саратовских государств, до сих пор остававшаяся совершенно непонятною как для отечественных, так и для иноземных историков и географов. Итак, в Саратове было несколько русских государств, имевших многоженство. Все знали, что у такого-то господина жива прежняя жена, а он законно повенчан с другою женщиною. В противоположность этому, были в других государствах законы, которых нет теперь ни в одном из государств всех пяти частей света, но которые, по свидетельству Юлия Цезаря, существовали у британцев его времени: одна жена имела несколько мужей. Все знали, что у известной госпожи жив первый муж, а она законно повенчалась с другим. Как судили об этих законах? Точно так же, [как] в Европе люди разных государств о чужих законах, — с международной точки зрения. Если государство процветает, то законы его хороши

для него, хотя и различны от законов, которые считает хорошими для себя нация другого государства, рассуждающая об этих иностранцах. Но если государство плохо, то бывали строги в суждениях о всяком различии его законов от своих. — Нечего и говорить о том, что совершенно различны были в разных государствах законы о состояниях: в некоторых саратовских государствах существовало крепостное право, в других нет; из государств, в которых все были лично свободны, некоторые государства признавали неравенство политических прав между своими гражданами, — в них были или два сословия, как в древнем Риме, патриции и плебеи, или три сословия, как [в] Риме последних времен республики (патриции, всадники, плебеи) и нынешней Англии (nobility, gentry, reople), или четыре, как в Швеции (аристократия, духовенство, горожане, простой сельский народ), и было кроме всех подобных, известных в обыкновенной истории сословий множество других, что и неудивительно, потому что во всей обыкновенной всемирной истории не наберется столько различных государств и законодательств, сколько было в мое время в саратовской системе государств, заключавшей, как я сказал, от 6 до 10 тысяч правительств с особыми законами у каждого. Приведу некоторые примеры для засвидетельствования указанного мною превосходства саратовской системы государств над всею не только нынешнею землею, но и всею всемирною историею по обилию разнообразных законодательств о сословиях.

В нашем государстве, имевшем, как я сказал, пять человек полноправных граждан (почти столько же, сколько имела Спарта во времена попыток реформ Агиса), были следующие сословия: 1) помещики, — сословие, соответствующее потомственному дворянству русского законодательства, — мой дядюшка и по нем моя тетушка; 2) духовенство — моя бабушка, мои батюшка и матушка; 3) домовладельцы — мои бабушка и матушка; 4) лица, не имеющие недвижимой собственности в своей резиденции — батюшка, тетушка и дядюшка; 5) сословие, получающее доход, — мои бабушка, матушка и тетушка; 6) сословие, отдающее все свои деньги лицам сословия, получающего доход, и не имеющее никакой движимой собственности кроме платья, — мои батюшка и дядюшка; 7) — но довольно, довольно и этого перечня, составляющего только начало перечня сословий нашего государства, чтобы видеть, во-первых, чрезвычайную многосложность сословного состава, признаваемого его законодательством, и, во-вторых, его совершенную оригинальность, потому что во всей обыкновенной всеобщей истории от начала мира до наших времен нет примера такого сословного законодательства. Читатель уже видит, что в нашем государстве были лица, которые, имея право владения и действительно владея поместьями на правах, одинаковых с правами, какие признавались тогдашним русским законодательством, в то же время были лишены права иметь доход, обязаны были отдавать в дань все получаемое ими и лишены были права иметь какую бы то ни было движимую собственность, кроме

платья, — такое лицо был мой дядюшка. Или: были лица духовного звания, подлежавшие тем же самым даням и ограничениям, — такое лицо был мой батюшка. Эти юридические положения, смею надеяться, беспримерны во всеобщей истории всего остального человечества. Но в саратовской системе государств было, кроме нашего, и несколько, — вероятно, довольно много, — государств, имевших подобные сословия. Подобные, говорю я, — и конечно, только подобные, а не совершенно такие, потому что при многообразности сословной части законодательств были всегда оттенки разности между двумя подобными сословиями двух государств.

Я хотел привести несколько примеров, но раздумал. Довольно будет и одного, если я успею убедить вас взглянуть на дело с моей точки зрения, — вы сами легко наберете сотни и сотни примеров на каждое мое слово; да пожалуй и не нужно будет полбзирать: дело так известно всякому, что удобно можно заниматься общими соображениями о нем, как прямо говорим: зимою в Саратове или в Казани, или в Вологде бывает много снегу, — нечего описывать подробности, что такое зима, что такое снег, это явления слишком известные. Поэтому я не стану подробно доказывать и чрезвычайного разнообразия в обычаях и нравах разных наций саратовской системы государств: полагаю, что мой читатель не будет сомневаться в следующих выводах: по обычаям, различные саратовские нации представляли все степени и переходы и оттенки от наций, опрятностью подобных голландцам, до наций, стоявших на такой же степени неряшества, как эскимосы; от наций, сохранявших одержавды сделанные привычки с постоянством, превосходящим английское, до других, у которых несравненно больше пятниц на одной неделе, чем бывает у французов по мнению людей, считающих французов ветренейшим и расположеннейшим к новизне из всех народов; от наций, равнявшихся простотою жизни и мыслей американским краснокожим, до наций, которые равнялись изысканностью обычаев древним сибаритам, и т. д., и т. д. — По отношению к нравам были также все степени и оттенки, от суровости, правдивости, приписываемой Ксенофонтом древним персам во времена Кира, до неимоверной лживости, приписываемой Маколеем новым гиндусам; были нации, пьянствовавшие несравненно больше англичан не только нынешних, но и XVII века; были нации, не употреблявшие и в мужском своем поле никаких хмельных напитков; нации, развратничавшие более древних вавилонян и вавилонянок, описываемых Геродотом, и нации, равнявшиеся чистотою добродетели древним римлянам, у которых будто бы более 500 лет не было ни одного примера измены супружеским обязанностям, по словам чуть ли не Тита Ливия; были нации...

Но довольно, довольно. Не в том дело, что я не уверен в том, достаточно ли ясно вы можете представить себе разнообразие нравов, обычаев, законодательств и правлений в саратовской системе государств, — это вы можете представить себе удовлетворительно, я знаю; дело в том, что отношения между этими разнообразиями

были чисто международные, что это были разные государства с разными народами, бесчисленные государства с бесчисленными народами.

Представьте же себе теперь, что вас попросили припомнить все, что помните из всеобщей истории, и все, что вы помните из всяких географий, этнографий, путешествий, — и спросили: теперь, вспоминая все это, скажи мне, какое ж мнение ты имеешь о понятиях, нравах, обычаях людей, понятия, обычаи, нравы которых пронеслись в твоей памяти? — Что вы можете сказать? Да вам вспомнился и Леонид в Термопилах, и Наполеон на Эльбе, и пиры Лукулла, и парфы, побеждающие неприятеля бегством от него, и фокусник, идущий по канату через Ниагарский водопад, и бедуин, питающийся одною горстью фиников в сутки, и парижанин, сидящий в театре, и все на свете, — вы ничего не можете сказать о всех них вместе, — вы говорите: вопрос нелеп, надобно говорить о сотнях разных сотни разных мнений.

Так. Само собою, что я скажу о саратовской системе государств: нельзя сказать ничего общего об убеждениях и жизни бесчисленных ее наций; но это само собою, а теперь я веду речь еще к другому. Вообразите себе тысячу следующего ряда: англичанин, итальянец, древний скиф, средневековый барон, готтентот, кардинал Ришелье, персиянин, испанец, вор, Петр Пустынник...

И так далее, пока наберется несколько сот, — вообразите, что они живут вместе, каждый по-своему, рассуждают каждый по-своему, — и вы выросли в этом обществе, — какие убеждения давала вам ваша обстановка?

Я вам скажу, какие:

Будь честен; пьянствуй; будь добр; воруй; люди все подлецы; будь справедлив; все на свете продажно; молись богу; не пей вина; бога нет; будь трудолюбив; бей всех по зубам; кланяйся всем; от ученья один вред; бездельничай; от науки все полезное для людей; законы надобно уважать; плутуй; люби людей; дуракам счастье; смелому удача; говори всегда правду; без ума плохо жить; будь тише воды, ниже травы; закон никогда не исполняется; закон всегда исполняется; будь —

неизвестно что, или что хотите, все на свете.

Я говорю, что все люди моего времени выросли среди обстановки, внушавшей такие убеждения. Да какие? — Всякие, — то-есть по всякому умственному, нравственному, житейскому вопросу: да, и нет, и все степени среднего между да и нет.

Эта путаница невообразимая, неудобомыслимая, — это как то, если бы в одно время слышали крики сумасшедших, чтение умной лекции, пение Марио, лаяние собаки и все другие речи и звуки, могущие раздаваться на земном шаре. Ахинея.

Нет, не ахинея, а только хаос. Из него выйдет порядок, в нем есть все силы, которыми создается порядок, они уже действуют, но они еще слишком недавно действуют; в нем есть все, все элементы, из которых развернется прекрасная и добрая жизнь, —

потому что ведь это все-таки же несомненно люди, у них есть глаза и руки, у них есть головы и сердца, — так, — что ж тут сомнительного, что они не обезьяны, — у обезьян совсем не тот вид.

Но если нельзя сомневаться, что этот хаос придет в стройность, что из дикой бессмыслицы разовьется жизнь, приличная человеческому обществу, то теперь в целом еще нет ее. Все еще только кусочки, клочочки, перепутанные со всякою дрянью. И если не только нельзя сомневаться, что они очистятся и склеятся, если можно даже разобрать, что отбросится и что останется по очистке, и как это чистое построятся в стройное целое, — ведь это можно разобрать, — то нужно же разбирать, — а чтобы разбирать, для этого нужны же силы и опытность не ребенка. Для ребенка это хаос, хаос одурачивающий, сбивающий с толку, — дающий материалы, чтобы потом, после, вникнуть в толк, — но в детстве человека сбивающий человека с толку.

И думаю ли я, что это была особенная моя участь или хоть особенная участь моих соотечественников моего времени, или моих соотечественников всех времен, — или всех людей всех наций моего времени, — что это была их особенная участь? — Нет, я не вижу в этом ничего особенного: все люди всех племен с той поры, как начиналась в каждом племени историческая жизнь, появлялись хоть первейшие, слабейшие начатки превращения из совершенных дикарей хоть в варваров, — все люди вырастали в хаосе, сбивающем с толку.

Но сущность хаоса именно то, что в нем все непоследовательно, все зависит от случайности места, на котором привелось [быть] известной группе атомов, — и случайность, гибельная или безразличная для огромного большинства, бывает также случайно для некоторых такова, что дает им случай понять когда-нибудь то, что это такое этот хаос, к чему он влечется, что из него выйдет.

Попал ли я в число таких случайных счастливых? — Я полагаю. Если так, то постепенно и будет разъясняться моими воспоминаниями хаос, часть которого произвела их. Но ведь это должно и в рассказе отразиться так же, как шло в жизни, — а теперь пока я говорю о своем детстве, и рассказ о нем был бы неверен его характеру, если бы не начинался не с калейдоскопического характером.

IV

Горы огибают Волгу полукругом, имеющим верст 20 по берегу в длину, верст 5, 6 в глубину по своей середине. Саратов лежит в этом амфитеатре на предгорьях северной стороны; местность живописна. Соколова гора, — как называется та часть стены амфитеатра, к которой прилегает Саратов, — видна со всех улиц города. Она подходит полною своею высотой к самому берегу реки, — отвесным обрывом, — это так обрезал ее напор течения в разлив реки, когда вода поднимается на несколько сажен по этому обрыву. Когда вода спадает, остается между обрывом и водою узкая,

но довольно полагая полоса прибрежья. Противоположный конец амфитеатра синее далеко мысом, врезающимся в Волгу, — действительно ли это мыс, огибаемый рекою, я не знаю, я не был дальше подошвы этой стороны амфитеатра; но из Саратова он кажется мысом, далеко врезающимся в реку.

Амфитеатр гор прекрасен. На 25, 30 или больше верстах полукруга горы множество лошин, буераков, — и диких, и светлых, веселых, — иные из них прелестны. Мне помнится, например, Баранников буерак; в каком месте гор он, я не знаю, я ездил туда, когда мне было лет 6, 7, 8 — меня брал с собою мой батюшка. Там был раскольничий скит; к скиту присоединились какие-то мошеники, чуть ли не делатели фальшивой монеты; их открыли, перехватили или рассеяли, а старики, человек десяток, стали подозрительны. Кроме светской полиции, за ними должно было наблюдать теперь и духовное начальство; батюшка, — как благочинный, — должен был доносить, как живут старики, и по временам ездая взглянуть на это. Из разговоров, бывших там, у меня осталось в памяти только последнее мое посещение. Старик почтенного вида, в старинной полумещанской одежде, вышел из кельи, послышав, что кто-то едет, и с час гулял с батюшкою по тропинкам оврага, хвалясь своими пчелами, чем-то вроде нескольких яблонь или вишневых деревьев; толковали о сельских работах, — оба собеседника были опытные пахари, — я слушал с удовольствием и проникся таким уважением к старику, что когда мы подошли к ручью и я, увидев ковш, вздумал кстати напиться, то, поднося воду к губам, как-то инстинктивно перекрестился, — у меня не было тогда обычая перекреститься перед тем, как пить, но мне почувствовалось, что теперь надобно перекреститься, что иначе старик осудит. Старик был прост и разговорчив и, кажется, был рад гостью, с которым можно поболтать о сельском быте. — Я теперь только начинаю любить природу, — в себе я считаю это признаком пожилых лет, — в молодости я не был охотником любоваться ею, а в детстве и тем меньше. Но Баранников буерак даже тогда казался мне живописен и хорош.

В очень многих лощинах и ущельях гор — сады; и по предгорью внутри амфитеатра много садов, — быть может, до 150, до 200 в этом полукруге. В мое детство была молва, что садами умели и любили заниматься старики, что у нынешних владельцев мало этой охоты; если действительно было такое время ослабления любви к садам, [то] теперь оно уже прошло. Теперь опять много людей, с любовью занимающихся своими садами.

Верстах в 3, 4 от берега Соколова гора спускается в глубину амфитеатра довольно отлого; весенняя вода с северного края амфитеатра, нашедши небольшой перегиб в отлогости спуска, обратила его в глубокий овраг; этот овраг и отделяет предгорье, принадлежащее настоящему городу, от горы. Вдоль оврага подъем от берега в глубину амфитеатра ровный, пологий; но подальше к югу предгорье падает к берегу террасою; между террасою и берегом весенней воды

идет полоса с полверсты шириною. Эта прибрежная полоса, крутой спуск террасы, вся терраса занята городом; еще дальше вниз по Волге, к югу, терраса опять незаметно переходит в дно амфитеатра, — зато само дно поднимается довольно высоким берегом, — и это все застроено, отчасти уж на моих глазах; еще дальше начинаются поемные луга, с небольшими озерами или большими плоскими блюдечками воды, остающимися от разлива. Но до этих мест еще несколько верст от нынешнего конца города.

Город тянется от Соколовского оврага по берегу версты на три, на четыре; в глубину амфитеатра от берега версты на две, на три и больше. Где-то в верховье Соколовского оврага — татарская слобода. По склону Соколовой горы, по соседству берега, много места вверх на гору занято предместьем.

Вдоль берега, версты две с половиною от мест, соседних с Соколовским оврагом, до другого, Ильинского оврага идет почти совершенно прямая улица. На плане, бывшем у моего батюшки, она называется Царицынскою. Почти на половине длины этой улицы стоит наша церковь, Сергиевская, и от нее средняя часть улицы всегда, а большей частью и вся улица называлась в мое время Сергиевскою. На этой улице, в нескольких десятках сажен от нашей церкви, книзу по течению Волги, стоит наш дом.

С другой стороны церкви, церковь выходит своею оградой на площадь, которая вся ниже к берегу от Сергиевской улицы. Тут пространство между Сергиевскою улицею и берегом так велико, что с нижнего конца площади идет к Соколовскому оврагу другая улица, с версту длиной, параллельная Сергиевской — Покровская.

Покровская улица другим концом выходит на площадь Старого собора. С площади Старого собора, параллельно оврагу, идет в глубину амфитеатра Московская улица. Сергиевская улица кончается, пересекаясь нижним концом ее. На Покровской улице жили наши родные; между площадью Старого собора и концом Сергиевской улицы стоит Гостиный двор; потому эти две улицы были мне, ребенку, свои, знакомые, чуть не ежедневные.

Мимо нашего дома, от Волги в гору, идет улица на площадь Нового собора, где архиерейский дом; а часть архиерейского дома отделена особым двором, на котором стоит консистория, куда я в первую пору детства беспрестанно ездил за моим батюшкою: скорее уйдет из присутствия, когда сын тут ждет и надоедает — зовет — по этому соображению и поощрялись моею матушкою мои поездки в консисторию. Немножко в сторону от Соборной площади, по направлению к Соколовой горе, жили наши родственники. Потому местность между Новым собором и нашим домом тоже была мне своя, ежедневная, знакомая.

Да еще тоже знакомый, ежедневный в теплое полугодие, был берег Волги, на три версты от Соколовского (Казанского, как зовут его в нижней его части, по Казанской церкви, стоящей подле него) оврага и до местности на версту ниже нашего места берега.

Что берег играл важную роль в жизни ребенка, это разумеется;

но и вид Волги, хоть я не любил любоваться ею, был тоже родной, — роднее всего, кроме своего двора, моему детству. Окна дома, в котором жили мы, выходили [на] Волгу. Все она и она перед глазами, — и не любуешься, а полюбишь. Славная река, что говорить.

Вот местности главного знакомства моего: Волга, берег, две улицы, идущие по берегу, две-три улицы подле нашего дома, идущие наперерез Сергиевской в гору, да небольшой уголок подле площади Нового собора. Остальной [город] отчасти был мало знаком, а большая половина его и вовсе незнакома моему детству.

Уж видно из этого, что, кроме родных, наше семейство мало у кого бывало. Кроме родных, да семейств и лиц, живших на нашем дворе, да семейств, живших на соседних дворах, да людей, которых я видывал бывающими у моего батюшки по должностным его отношениям, я в детстве видывал не очень многих близко к своему носу. А кого я не видел в двух, трех шагах, того и не видел в лицо, хоть видел его в общем составе его одеяния, потому что с той самой поры, как помню себя, я помню себя таким же близоруким, как теперь.

Но все-таки набирается много лиц, которые имели так или иначе влияние на мою детскую жизнь или оставили своими особенностями, приключениями или рассказами не совсем неважные мысли во мне, ребенке.

Одно из самых первых моих воспоминаний о самом себе — у меня в руках рюмка, и я пью за здоровье своего приятеля. — Я уже говорил, что мое рождение дорого обошлось моей матушке: она сделалась страдальцею, — и была ею десять лет, пока, наконец, много поправилось ее здоровье благодаря доброму Ивану Яковлевичу. Поэтому постоянными нашими гостями были медики. Многие из них были в дружеских отношениях с нами. Первый, которого я помню — Грацианский, уже немолодой мужчина, с грубоватым румянцем на лице, — вероятно, он был рябой, этот грубый оттенок очень часто бывает на рябых лицах. Он уехал куда-то из Саратова, — и вероятно, я был еще очень мал, когда он уехал, — так что даже не помню его имени и отчества, — он продолжал переписываться с батюшкою и вот уже только по этим позднейшим разговорам я помню его фамилию. — Итак, когда он еще жил в Саратове и лечил мою матушку, случилось и мне чем-то занемочь, неважным чем-то, потому что я помню себя лечащимся, не укладываясь в постель. Лекарство прописал Грацианский. Принесли лекарство, я отведал: не хочу пить; уговаривали, упрашивали, подкупали, — не хочу. Что делать с парнем? — «Для нас выпей, за наше здоровье», говорили мои старшие. — «Не стану». — «Так выпей по крайней мере за здоровье Грацианского — ведь он тебе это прописал, — так за него». — «Ну, за его здоровье выпью». — Так и шло все это лечение: я каждый раз пил микстуру не иначе, как за здоровье Грацианского.

Это занимательно для меня вот почему: видно, что я любил Грацианского: даже помню, что точно, любил; но, разумеется, ведь

я любил его гораздо же меньше, чем своих, матушку, батюшку, двоюродную сестру. Почему ж я мог отказываться пить за их здоровье, а пить за здоровье Грацианского не мог отказаться? Ясно: относительно чужого человека непростительна такая неучтивость, которую не примут в дурную сторону свои близкие. — Ведь это мотив, кажется, совершенно принадлежащий взрослому человеку; а между тем я был еще в той поре детства, из которой имена не удерживаются в памяти. Когда мне говорили: «ну, вот, готово, наливо, — пей же за него», — его называли не фамилиею, а именем и отчеством, и я, произнося тост, произносил имя и отчество, — но какие они были, я не помню, сколько ж мне было лет? Вероятно 5, если не меньше. А уж имел тонкие мотивы соображений. А между тем я не был ребенком чрезвычайно быстрого развития, —нисколько.

Дальше, я помню другого медика, Култукова. Он был у нас недолгим знакомым, жил в Саратове только каким-то промежутком между службою в действующих войсках и скоро уехал на Кавказ. Наши очень жалели потом, услышав об его смерти, — они тоже переписывались по его отъезде, и он просил там своих товарищей написать нашим об его смерти. И запомнился он мне тоже по мрачному рассказу. Говорили о его походной жизни, ее тревогах. Он стал рассказывать об опасностях, которых избегал, — например, в турецкую войну часть войска, при которой он был, была отправлена на кораблях сделать какую-то высадку. Приплыли, сели в шлюпки, поплыли к берегу на веслах. На берегу были турецкие батареи. Ядро ударило в шлюпку, и когда очнулся Култуков, он очнулся сидящим на дне. Рванулся встать — нельзя. Сидит на дне и не может встать. Пока он еще владел мыслями, он ничего [не мог] сделать, — но мысли уже стали туманиться, он чувствовал, что уже не в силах недохнуть и не захлебнуться, — судорожно метнулся, — и поплыл вверх, и благополучно приплыл к берегу, бывшему в нескольких десятках шагов и уже занятому нашими. Тут он понял, какое обстоятельство держало его на дне. Он был в шинели. В шлюпке лежало множество ружей; когда он пошел ко дну, шинель распахнулась, ружья навалились на развернувшиеся полы. Судорожное движение разорвало застёжки воротника шинели, и он выплыл из савана. Это будто из Монте-Кристо; но это, странный случай, не больше; а вот собственно то, что произвело на меня впечатление. Некоторые, — главные, — слова Култукова так и врезались целиком в мою память.

Это было в турецкую или в персидскую войну, не знаю. Култуков был в каком-то отряде, которому случилось иметь несколько очень утомительных дней похода, стычек, погонь за неприятелем. В неприятельской стороне была кое в каких местностях чума, как слышали наши. В таких обстоятельствах и медикам было очень тяжело, чуть ли не утомительнее, чем воюющим: беспрестанно приносят раненых, приводят пленных, которых надобно осматривать, не зачумлены ли они. Медиков было четверо. Дежурили поодиноч-

ке, но и не в дежурные часы почти не имели отдыха. После нескольких суток без сна был на дежурстве Култуков; голова ломила, горела, глаза слипались, — почти как в бреду был человек. Привели пленного. «Хорош, не опасен», сказал Култуков. Через несколько часов в отряде явилась чума. Пленный уж чуть ли и не умер. Кто пропустил его? — «Я. Судите». Суд. Все ясно: расстрелять. — «Правда. Я сам говорю: надобно расстрелять меня». Поблагодарил судей — сослуживцев, просил простить его в душе за то, что сделал всем такую ужасную беду. Я был спокоен, говорил он: дело решенное, что тут думать. Сидел, отчасти скучая, в ожидании смерти. Но вот, уж и недолго остается скучать: через два часа, — через полтора часа, — через час позвуют расстреливать, — вот и идут за ним. — «Пожалуйте к своей должности. Приговор отменен». — «Что такое? Как можно, отменен? Нельзя». — «Расстрелять уж нельзя: вы одни остались». В эти часы, между приговором и исполнением приговора, все трое остальные уже заразились чумою, все умерли или уже сказали про себя, что умрут. Нельзя было оставить отряд без медика, и командующий генерал отменил приговор, когда последний из трех остальных медиков прислал сказать, что умирает. «Итак, моя жизнь была спасена тем, что все мои товарищи были погублены мною. Что ж это такое, Евгения Егоровна? Где же справедливость, Гавриил Иванович?»

Да, что отвечать на такие вопросы? «Да», произнесли один за другим и матушка, и батюшка, и сам рассказчик. И семи или восьмилетнему ребенку тоже было понятно: «Что ж это такое? Где же справедливость? Да».

Как теперь вижу сидящего вечером в тогдашней нашей гостиной на кресле этого смуглого, черноволосого, курчавого, еще молодого человека, просто и честно говорящего о судьбе, которая спасла его от смерти: «Что ж это? Где же справедливость?»

Но дольше всех медиков был нашим приятелем г. Балинский, наш сосед по домам, поляк и католик. В последние года полтора перед его отъездом из Саратова в деревеньку, которую он купил, уж несомненно было, что мой батюшка — самый главный его приятель: г. Балинский, приготавливаясь к удалению на отдых, стал прекращать свою практику, времени у него стало довольно, и в последние месяцы, когда его семейство уж уехало, он проводил большую часть своих вечеров у нас.

Кстати, об этом предмете. В 1840 или 1841 году пришел к нам какой-то господин странного и бедного вида, средних лет, и спросил батюшку. Батюшка вышел. — «Что вам угодно?» — Вошедший молча подал бумагу. — Батюшка взглянул на бумагу, — «пожалуйте, вот, в мою комнату». — Через несколько времени привел посетителя в гостиную, где сидели матушка и бабушка, и отрекомендовал и познакомил с ними, как Наума Фаддеевича Носовича (в фамилии-то я не ошибаюсь, в имени или отчестве, быть может, только Фаддей уже наверное было, в имени или отчестве). Начались расспросы, рассказы, я тоже тут вертелся и слушал. После того на-

чались заботы, какие дозволялись средствами бабушки и матушки, — изготовились, между прочим, сверточек с чаем, другой, несколько побольше, с сахаром, — еще побольше с одною или двумя переменами белья, — Наум Фаддеевич уж и целовался со всеми, когда уходил, и до конца жизни остался нашим приятелем; но в помощи наших скоро, — так через полгода, что ли, — перестал нуждаться.

Я, в первое время знакомства, два раза начинал сильно доказывать Науму Фаддеевичу его ошибку. Я тогда уже много читал, — иные сотни страниц по многу раз, — огромный латинский курс Феофана Прокоповича, — как я жалел, что из 18 книг, предназначенных по плану курса, обработано и напечатано было только 12, — у Феофана Прокоповича трактат о *filioque* был превосходен, — аргументов было бесчисленное множество: из одного Адама Церникава триста цитат, и то лишь «важнейшие». Я представил Науму Фаддеевичу некоторые доводы. Он оба раза слушал меня ласково, но отвечал неохотно, и диспутировать с недиспутирующим было неудобно, — я бросил невыходивший спор и порешил на том, что Наум Фаддеевич человек неученый, и какие же диспуты заводить с ним? — Потому что у меня не было никакой другой мысли, кроме желания диспутировать.

Но вот что занимательно: как же это я, парень уж лет 13, не только сам не сообразил, что в положении Наума Фаддеевича неловко, не деликатно заводить с ним подобные диспуты, — не только сам не сообразил этого, а даже не догадался вывести этого из того, как держат себя с ним мои старшие, — ведь мой батюшка не хуже меня знает тему *filioque*, что ж он не спорит о ней с ним? Скажете: ребенок, где ж понять? А в 5 лет понимал, что деликатность требует пить за здоровье Грацианского. Тут дело было проще, не деликатность гораздо виднее. Из этого я хочу вывести вот что: если видишь, что ребенок не сообразил чего-нибудь, то еще не следует прямо заключать: «где ж понять это ребенку», — очень может быть, что это чисто случайная вещь, не пришлось ему вздумать этого, и только, — ошибка с его стороны, опрометчивость, такая же, какая беспрестанно случается и с взрослыми, а не следствие его детских лет. Я, например, конечно, очень в силах был сообразить, что сделал ошибку своими пробами диспута.

Носович был присланный на житье в Саратов униатский священник, не захотевший подписать согласие на отделение от папы. Это дело он рассказывал подробно, — что это было, как это делалось и как потом он провел время между своим отъездом из бывшего своего прихода и своим прибытием в Саратов.

Он был человек скромный, правдивый, ни в красноречие, ни в увлечение не вдавался, — каждое слово его рассказа так и дышало полнотою верности истине. Но я не скажу, что мои старшие поверили его рассказу, как рассказу правдивого человека, — характер принятия ими его рассказа был совершенно другой: его слушали, как бы он рассказывал, что вчера было сначала утро, потом

полдень, потом вечер, — что в прошлую зиму и в Пензе, и в Тамбове топили печь, ездили на саних, что в прошлую весну мужики в Симбирской губернии пахали, — его рассказ принимали так, что на лицах было написано: «Ну, конечно, иначе и быть не могло, — само [собою] иначе и предположить нельзя».

Странная вещь. Я не знаю, какие люди пишут, например, историю? и какие люди могут верить той истории, какую те пишут. — Я не встречал людей, способных писать историю, как она пишется, или верить ей в таком виде, как она пишется. У всех людей в здравом уме, которых я встречал, — и тоже у меня самого. — решительно у всех есть какой-нибудь рассудок, — сильный, слабый, твердый, хилый, но все же есть; есть — большая, малая, какая случится, но все же какая-нибудь — житейская опытность. Наблюдая других, наблюдая себя, я замечаю, что все мы сколько-нибудь — много, мало, но все же сколько-нибудь — руководимся здравым смыслом, умеем отличать сказки от несказочного. При этих условиях я нахожу совершенно невозможным, чтобы кто-нибудь писал историю, как она пишется, или верил такой истории. Ведь мы же понимаем все, что Илиада, Нибелунги, романсы о Сиде, наши песни о Владимире, — что все это прекрасно, как произведения поэзии, но что [это] не ученые исторические трактаты.

И с другой стороны, я вижу, что все читают историю и верят ей, вижу, что сам принадлежу к числу этих людей, вижу, что люди, похожие на обыкновенных людей в здравом уме, пишут историю, и сам пописывал статьи исторического содержания, будучи в полном уме. Странно.

Я смущаюсь тут вот в чем. Все мы знаем, как идет жизнь, — рассуждаем обо всем, как умеем, на этом основании: мужик, например, по нашему рассуждению, пашет землю, чтоб родился хлеб, который насыщает голод, купец торгует, чтобы получать тоже прибыль, и т. д. — Как беремся за историю, пошло совсем другое: такая небылица в лицах, что ни пером написать, ни умом разгадать, только в сказке сказать. А пишут пером и разгадывают умом. — Вы видите перед [собою] не жизнь, какую вы знаете, а сцену итальянской оперы, где ходят так величественно, жестикулируют так благовидно, даже шутят и шалят так возвышенно и грациозно, и все поют, все поют так отлично искусно, и даже не сморкаются, не чихают — никогда. И вы верите, что это было так. Что вы делаете (то-есть и я в вашем числе), — можно понять забвение действительной жизни, когда вы смотрите и слушаете итальянскую оперу, читаете идеализирующую поэму, экзальтированный роман, — там с начала до конца выдержан свой тон, — вы поднимаетесь на воздушном шаре, несетесь так легко, — нет на вашей дороге ни ухабов, ни неровностей мостовой, ни подпрыгиванья вагона по рельсам, ни подергивания парохода от ударов машины, — так плавно, и самые порывы плавны, — так гладко и однородно. Легко замечаться, забыть всякие стуки и толчки. Но в истории нет вам (и мне в вашем числе) и этого извинения, — это дикая,

дикая смесь фантастического с действительным, — это то, как если бы на сцену итальянской [оперы] ежеминутно выскакивали обыкновенные смертные в халатах и пеньюарах, армяках и сорочках и кричали бы о своих делах, а итальянская опера одновременно с этими эпизодами своим манерным, — прекрасным, — тоном. На одной и той же странице половина людей, мыслей, слов из фантастического мира, другая — из действительного, — и на каждой странице то же. Это не что иное, как сапоги в смятку, — кушанье, состоящее наполовину из двух материалов, которые оба очень хороши, — яйца в смятку — очень удобная пища, сапоги — очень удобная обувь; но вместе — яичница всмятку, в которую положены сапоги или которая влита в сапоги, — воля ваша, это неудобно ни для рта, ни для желудка, ни для ног.

Вы видите мою тенденцию: я беру вещь, которая всем известна, — например, выражение «сапоги в смятку». Спрашиваю: что это значит? Вы приходите в смущение, — никто в мире до меня не задавал себе такого вопроса, и вы говорите: эта вещь непонятна, — какой смысл заключается в выражении «сапоги в смятку», никто не знает; я с доброю, но гордою улыбкою объясняю: это значит вот что: сапоги в смятку значит: яичница в смятку, в которую положены сапоги. Вы видите, что это так, что это несомненно, и соображаете, что эти две прекрасные [вещи] составляют вместе нелепость, потому... — простите, вы (и я в вашем числе) ничего не соображаете, и потому вас (и меня в вашем числе) угощают (и я бывал в числе угощаемых) сапогами в смятку, и от этого у очень многих ноги в сабо, в лаптях или вовсе босы, — потому что вы (и я в вашем числе) скушали их сапоги, и от этого у вас (и у меня в вашем числе) спазмы в желудке.

Но если я подобно вам имею теперь сильную привычку кушать сапоги в смятку, то я имел в жизни элементы — некоторые как человек, живущий между людьми, некоторые как человек, читающий книги, — эпизоды, учащие меня, что сапоги в смятку — не кушанье, а дрянь. Один из этих элементов я теперь начинаю показывать вам. Это — семья, в которой прошло мое детство. Я рано стал смотреть свысока на ее понятия, и со стороны логики, теории, был совершенно прав. Насколько могли бы излагать мои старшие свои мысли в виде теории, теория была бы неудовлетворительна — даже и очень (почти настолько, насколько теории 99-ти из сотни моих читателей). Но они не были теоретики — они были люди обыденной жизни, настолько придирчивой к ним своими самыми не пышными требованиями, что они никак не могли ни на два часа сряду отбиться от нее, сказать ей: ну, теперь ты удовлетворена, дай мне хоть немножко забыть тебя — нет, нет, она не давала, не давала им забыть о себе.

А были они — все пятеро — люди честные (потому-то она и была придирчива к ним). И, вырастая среди них, я привык видеть людей, поступающих, говорящих, думающих сообразно с действительною жизнью. Такой продолжительный, непрерывный, близкий

пример в такое время, как детство (не мог не лечь очень солидным весом, не мог не давать очень ясного света многому, когда для меня пришла пора разбирать теоретически), не мог не помогать очень много и много мне, когда пришла мне пора теоретически разбирать, что правда и что ложь, что добро и что зло.

Я ни в чем не похож на человека, раздумье которого теперь мне вспомнилось: он был отважен, — я нет (он был пылок, рвался вперед, я нет); его силы пропадали в напрасной борьбе, — я почти не боролся, всегда избегал борьбы, — а насколько есть во мне сил, они пошли и идут в дело, не пропадая; он грустил о напрасно убитой своей жизни, — я не имею ни права, ни охоты считать свою жизнь такою, — но в одном я схожусь с его воспоминаниями и чувствами:

Стучусь я робко у дверей
Убогой юности моей:
Не помяни мне дерзких грез,
С какими, бросив край родной,
Я издевался над тобой;
Не помяни мне глупых слез,
Какими плакал я не раз,
Твоим покоем тяготаясь, —

моя убогая юность дала живое чувство небогатой обыденной жизни, — внушила его мне так неодолимо, что из моих понятий легко выбрасывалась потом всякая нарядная ложь.

Судите сами. Мои старшие были люди известной системы теоретических мнений. По этим понятиям одна сторона в известном деле должна была считаться безусловно хорошою и правою, другая — безусловно дурною и виноватою. Вдруг является человек, начинающий речь с того, что он, безусловно, держится стороны, противоположной стороне, которой, безусловно, держатся мои старшие; начинает рассказ, без всяких прикрытий объясняющий, что в известном деле все было прямо противоположно тому, что следует думать о нем по теоретическим понятиям моих старших. Мои старшие не только соглашались без всякого спора, что он говорит истину, — они принимают его рассказ с видом, говорящим, — а потом, когда случается коснуться этого предмета, то и говорят между собою, — что, само собою разумеется, это дело не могло быть иначе.

Я очень хорошо знаю, что пример, в котором яставляю действие элемента, чрезвычайно важного по моему мнению, не есть явление исключительное, — почти каждый, выраставший, подобно мне, в честном и небогатом семействе, беспрестанно видел такие примеры, — а такие люди составляют массу читателей; поэтому я знаю, что нелегко придать в глазах такого читателя делу то важное значение, какое оно действительно имеет: оно слишком обыкновенно, в нем нет ничего поразительного. Но я прошу обратить внимание на принцип, на силы, действующие в этом обыденном случае, — потому-то они и важны, что действуют постоянно, проявляются беспрестанно. Ведь характер этих сил можно, пожалуй, выставить и

ярко на случае, который был бы поразителен необычайностью, — я даже считаю полезным сделать такое пояснение.

Вообразите себе, что русский мужичок или французский мужичок, имеющий гораздо более сходства, чем саратовский русский мужик с симбирским русским мужиком (хотя саратовский русский мужик тоже не чрезвычайно, как вы и можете предполагать, отличается от симбирского), — вообразите себе, что он по щучьему веленью, по Иванушкину (то-есть моему) прошенью перенесен на время нашего с вами назидания его примером в самый центр Африки, где никогда не бывала нога европейца, и какие там народы живут, остается без дальнейших и точнейших известий не только для этого мужичка, не слыхивавшего ни о чем существующем далее 50 верст, или, что почти то же, километров от его села, но и для нас, образованных людей, с той поры, как средневековые космографии, одни и те же и на Западе, и у нас, поместили там людей, у которых нет головы на плечах, а находится рот с носом и глазами и всеми принадлежностями головы — на груди. Как можете себе вообразить, эти люди должны довольно значительно отличаться от нас или от французов, потому что, по всем вероятностям, когда голова помещается там, где по европейскому обыкновению помещаются легкие, то голова эта несколько не похожа на общепринятую, какую получают от природы русские и французы. Но если способ физического устройства этих людей и их манеры жизни могут казаться несколько странноваты, то можно предположить, что и наша фигура и наша манера жизни должна показаться не совсем похожею на обыкновенную у них. До сих пор я рассуждаю, как вы видите, очень правдоподобно.

После этой длинной присказки начинается сказка, состоящая лишь в десятке слов: эти люди и перенесенный к ним мужичок с первой минуты, с первого слова совершенно понимают друг друга, находят все друг в друге совершенно как следует по их обыкновению и совершенно сходятся друг с другом во всем.

Вот это уж удивительно, скажете вы, — это даже неправдоподобно. Что это удивительно, я согласен, — я и вперед [сказал], что возьму пример удивительный; что это неправдоподобно, я не могу согласиться, потому что совершенно такие случаи видел я сотнями и тысячами.

Я видел изумительные вещи, каких не видывал ни Марко Поло, ни наш путешественник г. Муравьев, ни сам Гулливер (впрочем, далеко уступающий моему соотечественнику). Я, например, [видел] — в Саратове и в Петербурге, смею вас уверить, клянусь вам, — русских и немцев, знакомых между собою, даже приятелей, даже искренних друзей. — Да, я видел и в Саратове и в Петербурге людей разных наций и вер, — русских и немцев, русских и французов, французов и немцев, православных и католиков и протестантов, и раскольников, и мухаммедан, живущих между собою ладно, — по крайней мере, не зарезывающих друг друга, не отравляющих друг друга, — клянусь вам, видел.

Но нет, — неужели я в самом деле видел это? Позвольте, ведь я еще не сошел с ума, — могу соображать, что возможно и что невозможно, — нет, я понимаю, что это невозможно, я не видел этого, это был обман чувств. Эти люди, если бы они были действительные люди, а не фантомы, созданные моим бредом, должны были все до одного кусаться, грызться и целиком съедать друг друга.

Мне странно, что я за человек: я знаю, что фантазия у меня очень слаба; будь у меня хоть настолько фантазии, насколько есть у пятидесяти человек из сотни, я был бы великим художником, потому что я очень хорошо знаю, в чем заключается поэзия, в чем состоит художественность, — но я только знаю, что и как надобно писать художнику, — а не умею, не могу, — значит, у меня слишком слаба фантазия. — Но если так, то каким же образом у меня [удалось] фантазии создать такие полные, законченные типы, как: русский, француз, немец, — множество других, — католик, раскольник, лютеранин, гернгутер, множество других, — вы согласитесь, что у самого Шекспира нет десятой доли того количества типов, какое выставляю я вам этими двумя началами перечней, — и самые полные, законченные типы Шекспира — Гамлет, Яго, Макбет, Лир — не имеют тысячной доли той полноты, яркости, законченности, рельефности, живой выразительности, как любой из сотен типов, поставляемых мною перед вами, — откуда ж у меня взялась такая изумительная сила поэтического творчества? — Ведь эти типы, мои типы, точно такие же создания фантазии, как Офелия, Гамлет, Дездемона, — в действительности нет лиц, соответствующих им; нет, я слишком скромн: я и с этой стороны сильнее самого Шекспира фантазиею: нет в действительности лиц, которых мы знаем из Шекспира под именами Ромео и Джульетты, Макбета и леди Макбет, но есть лица, очень похожие на них. Мои типы, столь живые, столь яркие, не имеют ничего подобного себе в действительности. Шекспир по силе идеализации — пигмей передо мною, Геркулесом, — его полеты [в] сферах поэтического творчества — куриные полеты перед моими, орлиными.

Но я не горжусь этой силой, — я знаю, откуда она у меня, я знаю, какая она. — Видите ли, в моем организме нет ни малейшей склонности к чуме, он сам не в состоянии породить ничего, сколько-нибудь похожего хоть на слабый симптом чумы (я этому, разумеется, очень рад), — но перенесите меня в чумный город, — и как нельзя легче разовьет мой организм превосходнейшие симптомы чумы. Повальность дает силы бессилию, вносит зародыш и дает ему роскошное развитие. И мой бред — повальный бред. И вы, кто бы вы ни были, имеете этот бред, — иначе вам не попала бы в руки эта книга. Она, видите, предназначена к обращению только в кругу людей, зараженных тем же повальным бредом.

Дикий бред, страшный бред. — Вы, может быть, не знаете, что это бред — у вас нет интервалов светлого простого человеческого сознания. У меня они есть. Они часты. Они продолжительны. Но

нет, не может же быть, чтобы и у вас не было. Ведь вы все-таки человек.

Но по частому и продолжительному прерыванию моего бреда интервалами здорового человеческого смысла я принадлежу к наиболее счастливым из моих собратий по бреду. Я обязан своей семье этим счастьем.

Простой человеческий взгляд на каждый отдельный факт жизни господствовал в этой семье. Мои старшие были люди в здравом уме.

Фаддей Ильич по своем приезде в Саратов провел несколько дней — не голодный, вовсе нет: его покормил в эти дни кто-то из постояльцев ли, из хозяев ли, постоялого ли двора, квартирники ли, где он остановился ли, был ли оставлен, — и не голый, потому что у него, — на нем самом, — была пара белья, а посверх белья тоже было все, чему следует быть на человеке мужского пола и не простого звания: сапоги, брюки, жилет, галстук, сюртук, — все было, — и шапка, даже похожая на фуражку, с козырьком, как следует. Но пить чай в эти дни ему не привелось, — да что-то и давно уж не случалось, и пища была в эти дни более здоровая, нежели роскошная, — вроде хлеба (т.-е. черного, «хлеб» по-саратовски — только ржаной хлеб, а пшеничный — калач, пирог), хлеба с квасом, и, вероятно, не простым квасом, а квасом с луком, — каша, вероятно с маслом, — полагаю, и щи, — горяченькое-то очень хорошо, — надеюсь, были и щи, — едва ли с говядиной, потому кто же ест говядину кроме как по праздникам. Едят многие, но те не едят, при которых он пропитывался, — но ведь они живут восхваляя бога, — и он жил, восхваляя бога даже больше, чем они, потому что сравнительно с прежним попал в роскошь по отношению к пище: вступил, можно сказать, в землю обетованную после скудного жития пустынного, продолжавшегося для него, впрочем, не 40 лет, а в 40 раз меньше. Но что пища? — Не о хлебе едином жив будет человек, — приволье-то какое! Сидит он, например, в комнате, где воспринимает пищу от доброхотных дателей, своих новых друзей, граждан славного города Саратова, и где пользуется он кровом и одром ночным, — сидит он, я говорю, в этой комнате, — дверь есть в ней, но [не] то важность, дверь-то всегда бывает, а важно, что вздумал Фаддей Ильич, отворяет дверь, идет, — двор, — он и по двору идет, — калитка, — отворяет калитку, — улица, — он и по улице идет, — да так и ходит по всем улицам. Экое приволье-то какое!

Да это еще что! До такого ли приволья и благоденствия дожил Фаддей Ильич в нашем Саратове! — Через несколько дней он достал бумагу, препровождавшую его под зоркий и строгий надзор к моему батюшке и никак не хотевшую чапиться и препроводиться к моему батюшке, который потому и дремотствовал много дней по части строгости к Фаддею Ильичу, не имея понятия ни о существовании этого субъекта для строгости, ни о своей обязанности неослабно бдеть строгостью над этим субъектом. Но вот

Фаддей Ильич упросил, написали, выдали ему эту бумагу, — и новый Беллерофонт понес документ, в котором прописано все, чему следует подвергнуть подателя документа, — понес, отличаясь от прежнего Беллерофонта тем, что знал содержание несомого документа и сам добивался получить его для отнесения. Конечно, не без страха думал о прописанном в бумаге подвергнутии его всему, что там прописано, — но, — о, Фаддей Ильич был в таком гарпагонском настроении характера, что Гудсон Лоу, к которому он шел под тяжелую стражу, представлялся ему человеком, который, строго надзирая за ним, — будучи, конечно, и груб, и придирчив, и подозрителен, и враждебен, — все-таки, авось, не согласится ли представить по начальству, что оный злонамеренный и достоискореняемый Фаддей Ильич, при всей своей свирепой неблагомысленности, имеет нечто якобы вроде желудка, аки бы сильно подведенного к ребрам, на наполнение какового чрева требуется провиант, — то не благоугодно ли будет ассигновать Фаддею Ильичу впредь до искоренения от $2^{3/7}$ до $2^{4/7}$ коп. сер. в сутки, что вполне достаточно, ибо, конечно, баловать Фаддея Ильича не следует, — и, почему знать? На эту гипотезу может придти такое решение: выдавать Фаддею Ильичу впредь до его искоренения; о скорейшем достижении которого надобно стараться, по $2^{3/7}$ коп. сер. в сутки. На крылах и летел Беллерофонт с роковым документом, — приятно, приятно, хотя не без большой горечи эта приятность.

И вдруг, — эх, да какое же счастье! — и горечи-то не оказалось никакой в роковом документе, — одна беспримерная сладость от него! — Фаддей Ильич видит, что не замечают, не хотят замечать его злонамеренности и достоискореняемости, — лицо, обязываемое документом грызть, пилить и сверлить глазами и зубами ту особу, о которой прописано в документе, прочитав документ, подходит к Фаддею Ильичу с явным намерением применить к нему обычай, соблюдаемый саратовскими священниками при встрече с товарищами по званию, — у нас тогда священники при встрече целовались, — исполняет этот обычай, как будто Фаддей Ильич не Фаддей Ильич, прописанный в бумаге, а Фаддей Ильич, бывший на свете три года тому назад, — и дальше, — что ж это такое за блаженство человеку! — женщины, дети, порядочно одетые, — похожие на тех, какими когда-то был он окружен — господа, что это такое! — он видит семейную жизнь, ему говорят, что мы очень рады вашему знакомству, Фаддей Ильич, — и вдруг, чай, — так ли? — так, у него в руке чашка, в чашке чай, — с сахаром, — и он пьет этот чай. Вот так притча вышла!

Везет, везет счастье Фаддею Ильичу! Идет он домой, так, — да полно, то ли в этом узелке? ой, замечтался старик! — Щупает, нюхает: да не замечтался же, так: чай и сахар! — А в кармане жилета уж не может же быть его, — щупает — он, он, точно, он в кармане, целковый-то, не фантазия, а настоящий целковый! Чай, сахар, деньги в руках, и — ходи по всем улицам, куда глаза глядят! — О, о, раздолье-то, приволье-то, роскошь-то!

Фаддей Ильич рассказывал все эти свои ощущения моим старшим, — конечно, и мы, дети, вертелись тут же. Он рассказывал их не таким тоном, каким передаю я, и я очень жалею, что не нашел в себе умения передать его ощущения его добрым, кротким тоном, не имевшим никакого оттенка иронии, — незлобивая речь его без всякой задней мысли, речь, действительно дышащая только чувством отрады, произвела бы гораздо более сильное впечатление. Но, хоть и я человек кроткий, я не в силах выдержать незлобия Фаддея Ильича.

Люди с простым житейским взглядом на вещи не могут, если они не злы, переварить таких рассказов. И мои старшие качали головами и говорили: «нехорошо, нехорошо». И я, ребенок, чувствовал вслед за моими старшими, что нехорошо, когда человек доведен до чувствования таких отрад.

Скоро жизнь Фаддея Ильича в Саратове стала и вовсе поправляться. Во-первых, целковый его скоро чуть ли не упустился. Иаков, тогдашний архиерей, был очень сильным ревнителем распространения своей паствы: он очень усердно занимался сокрушением раскола. Он считал это своею обязанностью по совести, перед богом. У него были очень аскетические понятия и о вещах, которые могли бы скорее этой представляться ему в таком же виде, в каком знают их обыкновенные люди. Быть может, мне придется подробно рассказать о том, как по его мнению священники не имеют надобности ни в жалованьи, ни вообще в каких бы то ни было денежных средствах для жизни. Но независимо от всего этого, он был человек добрый. Услышав от моего батюшки об обстоятельствах Фаддея Ильича, он дал из своих денег рублей 5, чуть ли даже не рублей 7 серебром для передачи ему. Для Иакова это был значительный расход: он сам был очень беден деньгами. А для Фаддея Ильича это была сумма и вовсе значительная. Он был в восторге. Иаков усердно взялся за просьбу моего батюшки потребовать назначения содержания Фаддею Ильичу, — и содержание было скоро назначено. Помню, что цифра была от 25 до 28 рублей, но только не помню, в год ли, или в треть; если в треть, — богатство; но если и в год, обеспечение хорошее. Конечно, если и в треть, то чаев много не разопьешь, но щей можно есть вволю; рубашек много не купишь, а перемывка все-таки будет; это очень хорошо, когда есть перемывка: снимешь, знаете, рубашку для мытья, — покуда ее вымоют, имеешь другую, носишь; ту вымыли, эту отдаешь, вымытую надеваешь, — и никакого затруднения нет. А с одною рубашкою трудно обходиться. Можно, но есть трудность, говорил Фаддей Ильич.

Уже высоко поднялся Фаддей Ильич по лестнице благосостояния, когда получил содержание. Но судьба подняла его еще выше. Не знаю, через наше ли семейство, или как иначе, он познакомился с семейством Горбуновых (Николая Максимовича и Евлампии Никифоровны, — имена нужны, потому что Горбуновых в Саратове не одно семейство), людьми хорошими, — у них был под городом

сад, который тогда давал мало дохода, потому что был запущен во время долголетнего житъя гг. Горбуновых вне Саратова. Фаддей Ильич знал, любил садовое дело и стал садовником. Николай Максимович и Евлампия Никифоровна не имели тогда больших денег, сами порядочно нуждались. Потому не мог и Фаддей [Ильич] делать больших работ для поправки сада, — не было средств, — и хозяева сада не могли давать ему большого жалованья; но все-таки и у него было занятие, любимое им, и сад поправлялся, и хозяева сада давали Фаддею Ильичу, сколько могли, — он стал жить в полном благоденствии.

И жил, пока умер. Умер скоро. Напрасно, с одной стороны, это было напрасно потому, что ему уже было очень хорошо жить; с другой стороны — и потому, что впоследствии стало бы ему жить еще лучше. Когда я был у гг. Горбуновых в этом саду в 1859 году, сад был уже хороший, и хозяева уже получали от него порядочный доход, и наверное не обделяли бы Фаддея Ильича из порядочного дохода, как не обделяли даже из небольшого. Наверное его обстоятельства улучшались бы вместе с их обстоятельствами, потому что они люди хорошие.

Значит, Фаддей Ильич не имел никакой причины жалеть, что судьба перебросила его в Саратов: он сошелся в нем с хорошими людьми; мое семейство было хорошее, полюбило его, — Н. М. и Е. Н. Горбуновы — также, и их знакомство было для него еще гораздо полезнее, чем знакомство с моим семейством.

Он и не считал себя особенно несчастным. Напротив. Правда, была у него мечта о жизни другого Фаддея Ильича, который сам жил так, как его саратовские знакомые, — который сам делал для других то, что они делали для него. У того Фаддея Ильича был большой хороший дом, с большим садом, — в том доме весело играли дети. Ну, да мало ли что было? — Фаддей Ильич называл себя счастливецом, — эти дети были не родные его дети, это были дети его сестры, овдовевшей и поселившейся у него. Какое для него счастье! — сестра — все-таки далеко не то, что жена, племянники и племянницы далеко не то, что сыновья и дочери, — слава богу, слава богу, что далеко не то! — у других его компаньонов были дети и жены, — значит, он перед ними был счастливцем.

Фаддей Ильич был во время моего детства не единственным украшением Саратова в том архитектурном стиле, к которому относился.

Когда я был очень маленьким ребенком, по саратовским улицам бродили трое или четверо старичков в персидском платье, — желтые, сморщенные, — как они перебивались зимою, бог их знает, — зимою что-то не помнятся они мне, — вероятно, они прятались безвыходно на холодное время; но как начинали дребезжать винтики и гайки дрожек, появлялись и старички персияне и бродили по городу до осени. Три, четыре самые теплые месяца они вероятно проводили на солнышке все время, пока есть солнышко, — все грелись на нем, — устанут бродить, сидят, — точно кошки ищут где по-

Больше пригревает, и усалятся; сидели они уж по-русски на скамьях; но говорить по-русски не учились; с детьми были ласковы — мне говорили, что они и дарят бедным детям понемножку деньжонок; что они ласкали детей, это я часто видел. Со взрослыми не входили в сношения, но если кто заговаривал с ними, то они отвечали знаками благодарности — ласковым киваньем голов, улыбкою, — на сочувствие, которое понимали по выражению лица говоривших, — но сами не завязывали и таких отношений и не старались продолжать их. Видно было будто такой принцип: «Против вас я не имею ничего, я вижу, что вы человек добрый; я такой же, как вы видите. Но — вы русский; согласитесь, что нам не придется сближаться. Пока вам угодно обращаться ко мне, я обязан деликатно отвечать на ваши чувства; но я не желаю иметь сочувствия себе ни от кого из русских. Считаю это излишним». — Так они сидели на солнышке и бродили, как тени, — и хоть знакомые, но чужие.

Два раза в год они оживлялись и быстро, как могли, шли стариковским дрожащим бегом или пожалуй отчего не сказать и «бежали» вниз, к Волге, поскорее свидеться с персиянами, которые тогда непременно останавливались на два, на три [дня], или и больше, в Саратове и на пути в Нижний, и возвращаясь оттуда. Итак, два раза в год был для саратовских желтых старичков восхитительный праздник. Они не расставались ни на минуту с проезжими персиянами, пока те жили в Саратове. У этих проезжих персиян были тогда два знакомые приюта для остановок: в доме купцов Скорняковых и в доме моей прабабушки. Вот поэтому-то я и слышал, что старички молодели и веселели с своими земляками и болтали без умолку с утра до ночи.

Впрочем, они вообще были очень болтливы: бродя по улицам, все болтали между собою. — Но вот, вместо троих, стали бродить только двое. Когда мне было лет 10, бродил уже только один. Этому уж не с кем было болтать. Он что-то много лет бродил один.

Кто были эти персидские старички, зачем они жили в Саратове — никто не знал; когда они появились в Саратове, тоже неизвестно, — только, вероятно, тогда они были помоложе, — значит, это очень давно, — может быть, в XIX веке, может быть еще в XVIII, — а если судить по желтизне и сморщенности их лиц, то надобно полагать, что гораздо раньше, — очень правдоподобно, что это были остальные из персидских пленных, оставшихся в руках туземцев Саратовской губернии из войска Дария Гистаспа. — Если так, то очень жаль, что я тогда еще не был так усерден к науке, как стал впоследствии: старички, оставшись вне театра своей отечественной истории еще на первых порах ее, конечно, не могли бы сами рассказать ничего о важнейших ее временах: Ксеркс, Артаксерксы, Марафон, Платея, Микале, Лизандр, Агезилай, Александр Македонский, все это было уже после них; но и времена Кира, Гистаспа имеют довольно большую важность; а главное, старички дали бы алфавит для чтения гвоздеобразных надписей. Жаль, что не пожили

они еще лет пяток, — тогда я уже интересовался по статье «Энциклопедического лексикона» Плюшара¹⁷ вопросом о чтении гвоздеобразных надписей.

Фанатизм Фаддея Ильича, — потому что не может же быть, чтобы он не был фанатик, — напоминает мне приключение другого господина, той же веры.

Двор моей бабушки тянется, вероятно, сажень на 50 в длину, вниз по Волге, и спускается к ней тремя террасами. Двор моего батюшки — тут же рядом, выше продолжение верхней террасы. — На второй из террас двора моей бабушки стоит, между прочим, маленький флигель. Когда мы жили уже все на дворе моего батюшки, этот флигель отдавался в наем. Поселилось в нем очень бедное мещанское семейство, с тем расчетом, что само все станет жить в крошечной кухоньке его, а комнаты будет отдавать жильцам-нахлебникам. Кто были эти жильцы, нам уж не было никакого дела; может быть, бабушка и слыхивала о них, — а может быть, и вовсе нет; времена были еще простые, полиция еще не требовала от хозяев извещений о проживающих у них, — то-есть был еще такой же порядок, какой и до сих пор остается в Англии, которую Саратов обогнал в этом отношении лет 15—20 тому назад, — не знаю, как теперь ведется в Саратове новый порядок, составляющий прогресс Саратова перед Англиею, — вероятно, полиция уж открыла в нем что-нибудь хорошее, а на первое время она была недовольна нововведенною своею обязанностью отбирать справки от проживающих, — говорила, что это лишнее обременение, которое ни к чему не ведет; честные люди и так не прячутся от полиции, а мошенники — все известны: мошенник не может жить без того, чтобы не быть известен полиции; иначе он в один день угодил бы в острог. — Жители давно имели эту аксиому самым общим и твердым своим убеждением. — Итак, в те времена полиция еще не требовала, чтобы хозяева доставляли ей извещения о том, кто переселяется на их двор, кто съезжает с него, а бабушка в это время была уже плоха здоровьем, не бродила по двору для хозяйских распоряжений, как прежде; потому, я полагаю, ей и вовсе не приходилось узнавать, кто жильцы у мещан во флигеле на втором уступе ее двора. А мы, остальные, положительно не знали ни одного из них.

Но вот, однажды поутру, приходит пожилой офицер, спрашивает мою бабушку, — его просят в комнату, где она сидела вместе с остальною семьею, — сделайте одолжение, садитесь, что вам угодно.

— Я отставной поручик Иосафат Петрович Скарино, Пелагея Ивановна, — честь имею рекомендоваться вам, потому что я перехожу жить на ваш двор, к мещанам, — он назвал фамилию мещан, которую я теперь не припомню.

— Очень приятно познакомиться.

— Это нужды нет, Пелагея Ивановна, что я одинокий человек: я обе комнаты у них снял. Потому что, что же мне не жить в обеих комнатах, хоть я и один?

— Это ваша правда, тут нет ничего предосудительного.

— И я теперь зашел к вам в стареньком вицмундире, а у меня есть и новый вицмундир, Пелагея Ивановна, — право, есть.

— Я верю, Иосафат Петрович, — это очень хорошо, что вы по будням носите тот вицмундир, который попроще и постарше, а новый надеваете по праздникам.

— Я так и делаю, Пелагея Ивановна; у меня тоже и панталоны (тогда в Саратове наименее предосудительным названием этой статьи туалета считалось «панталоны») — тоже не одни, — у меня их двое суконных; эти, вы видите, заштопанные, — а другие у меня новые, хорошие.

— Это хорошо, Иосафат Петрович. — И так дальше. Буквально, это было начало разговора, который так и шел дальше. Иосафат Петрович тут же без утайки во всем исповедался моей бабушке и остальным нам: все свои вещи, все свои нравы, и все, все, до капли. Это был при очень, очень недалеком уме, — почти идиотстве, — простяк и в смысле откровенничанья. — Прекрасно. Так он и заходил к нам частенько, — он был человек отставной, жил своею маленькою пенсией, делать ему было совершенно нечего, — часто он ходил на гауптвахту у Нового собора проводить там время с дежурным офицером, если офицер хотел говорить с ним; но больше с солдатами, потому что офицер редко хотел пользоваться его собеседничеством, а из солдат все найдется кто-нибудь, что не очень поскушает и таким немудрящим компаньоном; тоже сиживал Иосафат Петрович у себя под окном, поглядывая на крышу соседнего флигеля, сиживал на крыльце у себя, ходил постоять на берег Волги, ходил и в церковь, тоже очень часто, каждый день, — он был очень усерден к нашему храму божию, Сергиевскому, но только по будням, — по праздникам ходил в Новый собор, потому что там служит архиерей и все военные бывают. Обо всем этом он, разумеется, очень подробно сообщал моей бабушке, а кстати пользовались этими сведениями и все мы, кому случалось здесь сидеть. А очень часто случалось сидеть тут всему семейству, потому что обыкновенно приходил он около времени чаю, поутру, — идет из церкви и зайдет посидеть.

Вот однажды Иосафат Петрович во время чаю и начинает рассказывать, что вот ныне сподобил бог его причаститься.

— Как, Иосафат Петрович, значит, вы католик (время было вовсе не обычное для говения у православных)?

— Как же, я католик. А я разве еще не рассказывал вам?

— Нет еще, не рассказывали.

— Как же это я позабыл сказать?

Мой батюшка, сидевший тут же, услышал этот разговор.

— Так вы католик, Иосафат Петрович? Что же это вы все в нашу церковь ходите? Ведь это для вас может быть нехорошо: ваш священник узнает, побранит вас; да еще и нас с Яковом Яковлевичем (другой священник, товарищ моего батюшки по Сергиевской церкви) бранить станет.

— Нет, батюшка, Гавриил Иванович, я спрашивался; он говорит: ходи, говорит, нужды нет.

— А когда так, то, разумеется, это ничего, — сказал мой батюшка.

— Я, батюшка, Гавриил Иванович, всегда так спрашивался; во скольких городах на службе бывал, — всегда спрашивался у своего священника, — что мне, говорю, русская церковная служба привычнее, — потому что ведь все по-русски, между русскими, — ну, наши священники и говорят: ходи, говорят, ходи.

Конечно, Иосафат Петрович имел гораздо менее возможности, чем великий князь Владимир Святославич, из-за которого по Нестору состязались вероучители греческие, латинские, иудейские и мухаммеданские, — но все-таки и судьба вероисповедания Иосафата Петровича поучительна: с молодости до старости ходил человек в русские церкви, — и надобно полагать, что не трудно было бы совладеть с умом человека такого необширного ума, если бы кто-нибудь вздумал обращать его из католичества; но вот, так и дожил он до кончины в преклонной старости, не натолкнувшись ни на одного охотника обратить его, хоть подходил под благословение по крайней мере к сотне русских священников. Но положим, русское духовенство не считается чрезвычайно усердным к деланию прозелитов; так зато католическое считается самым усердным и ревнивым. Мне кажется, трудно предполагать, чтобы в течение 30 или 40 или 50 лет, когда Иосафат Петрович все спрашивал разрешения ходить в русскую церковь, ему приходилось в разных городах спрашивать все одного и того же католического священника, — вероятно, тоже по крайней мере десяток католических священников перебывали его духовными отцами, — и никто из них не...